

АНОНС: ИЗ 10-ГО ТОМА СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

МАЛЬЧИК ИЗ ВОЛКОВЫСКА

Опыт реставрации ранней детской памяти.

«Как тянет земля, на которой человек родился...»

Михаил Булгаков.

Однажды на подводной лодке, мы шли под водой ночью, тишина. Я лежал в своей каю-те и предавался абсолютному физиологическому покою... Толща морской воды, стальной прочный корпус надежно предохраняли меня от каких либо земных или космических излучений. Мощная экранизация давала шанс заглянуть в самого себя без каких-либо по-мех. И я стал вспоминать то, что ни разу не вспоминал. То была экспедиция в собственную память. На уши – наушники, чтобы отсечь посторонние звуки. И полная темнота, как в фотолаборатории при работе с высокочувствительной пленкой. Я стал вспоминать свое раннее детство.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мой суровый критик, не посетуй,
Вновь назад смотрю сквозь времена:
Маму вижу рядом
И победой
Только что закончилась война...
Евгений Гулидов

Я родился в канун самой длинной и самой холодной зимы XX века – зимы 1946 го-да. Место моего рождения выбрал некий генерал, определивший полк, в котором служил мой отец, на постой близ Западной границы страны в небольшом, но старинном го-родке Волков-ыске.

Детство прошло в географической трапеции Волковыск – Слоним - Сморгонь - Бара-нови-чи. Но мир был открыт в Волковыске, и все его главные понятия тоже там. Есть ми-стическая связь между человеком и местом, где он появился на белый свет, вдохнул свой первый воздух, услышал первые звуки.

В Волковыске я прожил первые свои три года...

По настоящему человек рождается тогда, когда в нем пробуждаются зачатки памяти. С пер-вых вспышек памяти и надо вести не физиологическое летоисчисление, а личност-ное. Мои первые вспышки – раскаленная до красна чугунная дверца печки. Трогать нельзя – «Кых!» Я сижу перед хорошо растопленной печкой и смотрю на пляшущий огонь. Рядом мама, гото-вая тут же вмешаться в мои действия в столь опасном соседстве с открытым огнем. Но и ее завораживают языки пламени. Смотрим оба в огненный квадрат. Слава Богу, что телевизоров в Волковыске еще не было... Когда слышу вот эти окуджав-ские слова, сразу вспоминается наша печка:

*Огонь сосны с огнем души
В печи перемешайте...*

Ребенок в три года накапливает объем знаний о мире, который в разы больше того объема, что получает студент за пять лет обучения в ВУЗе! Он открывает мир для себя – взрывообразно. Все сразу!

Это несомненно так. А уж к 6-7 годам я уже знал практически все, что знаю сегодня, знал, конечно, в весьма урезанном виде, вот только читать-писать еще не умел. Ну, а уж когда научился грамоте, тут, о... тут мир и расширился и возвысился до космических пределов.

Но сначала азбука жизненных истин: есть день, и есть ночь. А между ними – утро и вечер. Вечер, это когда тебя насильно укладывают спать, а утром – насильно вытаскивают из постели. А еще бывают - дождь и гроза. Молния и гром. И если это бывает, то нужно сидеть дома, и во двор ни ногой, а то убьет молнией.

Оказывается, бывает лето, и бывает зима. Зима, это когда все вокруг белое и пушистое, когда во двор надо выходить закутанным, но зато можно лепить снеговика. Первая снежная баба – в Волковыске, во дворе нашего дома у железнодорожного переезда, первый инструктор по снежному ваянию – мама.

Лето – это когда по траве босиком. Это бабочки и стрекозы, это миска малины и корзина с яблоками. Это пруд, полный голосащей и снующей живности. Это горячее солнце и всего лишь одна майка на теле.

Лето – это когда у тебя в руке сачок – палка с легким остроконечным мешочком...

САЧОК. Первое орудие лова, охоты. Родители дарят эти невинные игрушки – сачки – детям, повинуюсь древним охотничьим инстинктам – найти, догнать, поймать. И не важно, что это всего навсего мотылек. Главное – увидь, догони, поймай! О, сколько было у меня сачков....

Кого поймал, не помню, а как бегал, догонял, прицеливался, взмахивал – очень хорошо.

Р-раз! И пусто... Нет, иногда попадалась какая-нибудь бабочка-капустница или очень пестрая красно-черная бабочка... А мне очень хотелось поймать стрекозу. Но стрекозы облетали сачок стороной. Один раз поймал майского жука – очень красивого с черно-белым орнаментом по брюшку, с жесткими коричневыми крыльями, с рогатой головой... Папа посадил его в пустой спичечный коробок и сказал: «Вот тебе телефон!» Я приложил коробок к уху и долго слушал, поскребывание цепких лапок... Телефон, однако! Не то, что нынешние айфоны! В моем телефоне отзывалась сама жизнь, мать-природа...

БИНОКЛЬ. Совсем недетская вещь, тем более армейский, полевой. Но он всегда висел на ремешке у нас в прихожей. Вот тебе и еще один взгляд на мир – через оптику бинокля. Если приставить его к глазам с обратной стороны – со стороны объективов, то все станет весьма и весьма отдаленным. Откроется много пространства, и можно будет бегать, пока не ударишься о предательски близкую вещь – стул, стол, стенку. И тогда под глазами появятся два синюшних полукружья, в взрослые будут обидно смеяться... Но бинокль я любил. Полевой бинокль, конечно же, принадлежал папе, и он, наведя его на резкость, давал поглядеть в окуляры, и тогда мир чудодейственным образом приблизится близко-близко...

ОГОНЬ. Он пляшет в печи, нагревая ее чугунную дверцу до вишневого свечения. Дверцу трогать нельзя, хотя и очень хочется. Кых! Дверца была круглая с винтовым прижимом. Много лет спустя, побывав в нашем доме, из всех прошлых вещей я обнаружил эту самую круглую дверку. По кругу шла польская надпись «Заклады блыжни».

КРОВЬ. Такая красивая, такая красная... Как небожно вытекает она в теплой воде... Я стою в выварочном баке, приспособленном под ванночку, порезал в баке палец и теперь спокойно смотрю, как тихо и совсем не больно выходит из тела в воду кровь. И не плачу... Великое созерцание: кровь струится...

ЛАМПА. Керосиновая, накрытая стеклянным колпаком в виде дудки. Ее нельзя трогать. Но я, однажды, схватил раскаленное стекло всей ладонью. Ожог! Больно! Очень больно. Кых! Хорошо еще, что лампу не опрокинул, а то бы пожар был...

КОЛЫБЕЛЬ. КОЛЫСКА. КРОВАТКА... Моя Волковысская деревянная кровать была сделана руками лучшего слесаря-разметчика Улан-Удэнского паровозоремонтного завода Андрея Черкашина. Он сработал ее сам, видимо, на верстаке дяди Феди. Он не купил ее в ИКЕЯ. Он сделал ее сам – большую, с избытком простора. Нечто вроде манежа и кровати. Сделал сам. А это святой труд. Ведь и плотник-столяр Иосиф тоже делал ясли для своего божественного сына своими руками.

А первыми моими пеленками были папины зимние фланелевые портянки, разумеется, ни разу не ношенные, а только что полученные со склада. И первые мои сандалии были сделаны руками полкового сапожника из обрезков хромовых голенищ.

«ЛЯГУШКА». Бабушка привезла из Москвы трофейную немецкую коляску, купленную на «черном рынке» за 400 рублей – «лягушку»: приземистая серая колесница на небольших колесиках и с длинной державкой. Меня в ней и возили. По всему Волковыску. А младшей сестренке Ларисе такого счастья не досталось, так как раньше ее родилась Аня, дочка маминой младшей сестры, и коляску увезли в Москву. Вот такой славный путь проделала моя детская колесница, воистину «лягушка-путешественница!» Так что, по Волковыску я разъезжал, можно сказать, на немецкой «иномарке». Интересно было бы узнать, кого в Третьем Рейхе возили в этой «лягушке» до меня? И кем потом стал этот мой одно-колясочник? А вдруг это был канцлер Герхард Шредер? По возрасту подходит – родился в 1944 году. Его отца, солдата вермахта, отпустили домой на побывку в 1943 году – тот сделал будущего канцлера и вернулся на фронт. А в октябре 1944 года погиб в Румынии в ходе Яссо-Кишиневской операции... Но мой отец к его гибели не причастен. Он в то время Белоруссию освобождал...

КАРАНДАШИ. Цветные! Да как же без них?! Сейчас уже не скажешь, привезла ли их ба-бушка из Москвы, или они были куплены в местных «канцтоварах», но они были! Шесть цветов, а может быть, и больше. И был бумажный лист, и были смелые черты, взмахи, замахи, изображавшие то, хотелось изобразить: вот это дерево, а это Шведская гора, а это я, а это мама, а это наш дом, а это небо, а это паровоз и много-много дыма...

Карандаши пахли очень вкусно – кедровой древесиной, грифелем и чем-то еще. Выпускала их фабрика со странным названием «Сакко и Ванцетти». Кто они были эти Сакко и Ванцетти до сих пор не знаю... А кто знает? Тут без «гугла» не обойтись...

Игрушек было мало. Война приостановила эту замечательную индустрию. Самая большая памятная и красивая мой игрушка – черный конь с золотыми копытами и таким же хвостом, и такой же гривой. Кто подарил? Наверное, папа. Привез из самого большого детского магазина Волковыска. И, наверное, на Новый год. Такой роскошный подарок можно было получить только в качестве новогоднего чуда...

КОПИЛКА. Вот еще одно «детское» волковыское слово. Керамическая собачонка или поросянок со щелкой между ушей, куда надо было бросать монетки. Монетки бросали все, у кого они не находились. А потом собачку или поросенка безжалостно разбивали молотком и на стол высыпалась груда монет, на которую можно было что-то купить. Желанную игрушку, например. «Копилка» - наглядное финансовое пособие для будущих банкиров. Банкиром я, к счастью или к несчастью, не стал. Стал лишь исправным клиентом Сбербанка.

УГОЛ. Угол это место наказания. «Иди, стань в угол!» И стоишь в этом углу между шка-фом и комодом, и изнываешь от потери свободы движений. И понимаешь, что в угол те-бя поставили за дело: взял без спроса папину шашку. Предупреждали – без разрешения не бери. Или стоишь за то, что принес в дом боевой патрон со стрельбища. Предупре-ждали: в дом ника-ких опасных железок не приносить. Провинностей было немало. Ведь когда начинаешь свою жизнь с нуля, то ого-го сколько промахов набегают. Потом прихо-дилось стоять в углу и в Сло-нине, и в Марьиной Роще, и в Сморгони... Наверное, совре-менная педагогика осудила бы воспитательную практику моих родителей. Но она была эффективной. Да здравствует угол! Как очень верно сказал поэт: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал!» А рисовать-то я, как и все дети, любил. Мама собирала мои произведения, особенно то-гда, когда я научился их подписывать (в Марьиной Роще). Подписи были такие: «Бой в горах». «Бой в небе», бой в городе», «Бой в лесу», «Бой на болоте»... Ну, а что вы хотите от мальчика из Волковыска? Из города, через который прокатились почти все европей-ские войны...

Из маминого дневника.

После высших офицерских стрелковых курсов (филиала курсов «Выстрел») моего му-жса капитана Черкашина перевели из Плевниц в Волковыск. Мы приехали в этот старинный, живописный городок в начале 1946 года. Я сидела на вокзале с вещами, а Андрей искал угол. Военный комендант города оказался однофамильцем – Виктор Черкашин. Он-то и устро-ил нас на постой к местному столяру-бондарю Лоскоту, к Федору Леонтьевичу или потом, по-домашнему к дяде Феде. Город полуразрушен, с жильем очень плохо. Андрей отправился со своими солдатами в лагеря под Баранови-чами, а меня на шестом месяце беременности стали выселять местные «бандеров-цы», а может, АКовцы («Армия Крайова» - польское вооруженное подполье). Они со-вали мне в лицо какие-то бумаги. Я пошла к коменданту. Тот дал двух солдат и претендентов выселили. Крики, угрозы убить... Солдаты сбили козлы, на них доски, мешки, набитые соломой – ложе. Дали мне бойца для охраны. Он еще сутки отдежу-рил и вернулся в часть. И я осталась одна. Жутко было ночами, прислушивалась к каждому шороху и ждала, когда в 6 утра начнет работать радио и начнется утрен-няя зарядка. Только тогда засыпала под бодрый голос диктора Юрия Гордеева. Потом мы купили с Андреем первую мебель – резной немецкий буфет, деревянное кресло и две картины на базаре. Одна – художника Мюллера 1914 года «Herbst» - «Осень» и сейчас еще сохранилась, другая исчезла после того, как ее отдали в Сло-ни-ме на сохранение. К приезду сестры – Вали – комнату украсили «шторами» из марли, крашеной рева-нолью в желтый цвет. Стало очень уютно. Но подступало главное событие моей жизни – рождение ребенка. Несмотря на то, что я была врачом, о родах имела смут-ное представление. Учи-лись мы в военное время и нас учили в основном лечить ране-ных, а не принимать роды. Да и рожали редко. Изучали родовспоможение по картон-ному муляжу...

25 ноября мы решили сходить в кино. Но по дороге в кинотеатр я почувство-вала, что лучше вернуться в роддом. Андрей остановил какой-то польский фаэтон и отвез меня в роддом, который размещался в бывшей частной больнице, (поляки называли ее «жидовский шпиталь». Хозяин-еврей при советской власти стал рабо-тать киномехаником). Гостиница была маленькой в четыре комнаты. Две наверху и две внизу. И родильная, и ожидальня все размещалось в одном помещении. Отцы привозили на санках дрова, чтобы отопить роддом. Это был своего рода топливный взнос.

К вечеру начались схватки... Сын родился в понедельник в 6 утра, при лучине, потом при свечах, керосиновых лампах. Утренняя осенняя темень. Рожала я меня при кере-синовой лампе, так как АКовцы или литовские «лесные братья» взорвали в тот день электростан-цию. Но когда появился, наконец, младенец, дали электросвет.

«Не иначе сын электромонтером будет!» - подшучивали врачи. Однако, ошиблись... Акушерку звали Нина Петровна Попова. Всегда буду помнить ее имя. Первенец мой родился, как объяснила потом мама, на богородичный праздник Милостивая Божья Матерь - 25 ноября 1946 года. Из роддома Андрей забрал меня на «виллисе», который дал комендант города майор Виктор Черкашин. Счастливый отец открыл все четы-ре дверцы, чтобы ребенок не отравился выхлопными газами. Так мы и ехали до само-го дома.

Андрей хотел назвать сына Виктором - честь младшего брата, сидевшего в лагере, я Александром или Анатолием, но поскольку ребенка крестили на Николу Зимнего, бабушка настояла на Николае. Так и нарекли первенца в честь Чудотворца, а также любимого маминого брата. Она тут же приехала к нам из Москвы. В декабре 1946 года мы окрестили ребенка, разумеется, тайком – на квартире у местного батюш-ки – отца Виталия. Андрей, служивший в местном гарнизоне командиром стрелко-вой роты, сделал вид, что о предании сына «религиозному обряду» ничего не знал. Во всяком случае, в политотдел никто не донес. Обошлось.

Крестной матерью была жена дяди Феди, столяра, у которого мы снимали комнату – Мария Петровна Лоскот. А крестным отцом мы с мамой выбрали мужа моей сестренки. – Василия Ивановича Ильина, тоже фронтовика, офицера-танкиста. Мно-го лет спустя выяснилось, что отец Виталий (Железнякович) был видным религиоз-ным деятелем в Западной Белоруссии.

Никаких товаров для детей в те годы с огнем было не сыскать. Их просто не выпус-кали. Новорожденного заворачивали в пеленки из новых фланелевых портянок Ан-дрея. Потом я разорвала надвое свой врачебный халат, Лоскоты пошли на подгузники. Купала ребенка в оцинкованном баке – выварке для кипячения белья. Первые дет-ские сандалики для моего ма-лыша стачал полковой сапожник. И сделал он это с большим удовольствием, поскольку ему, конечно же, надоело латать солдатские сапоги, а тут такая трогательная вещица. Он их из обрезков хромовой кожишил.

Андрей же смастерил и детскую кроватку необъятных размеров. В нее могла влезть даже я. Однажды я спряталась туда, накрыв верх одеялом. Получилось, как в палатке. Андрей стал искать меня и не смог нигде найти. Чувствовал, что где-то рядом. Тогда решил взять на испуг.

- Если не появишься, пойду и съем все варенье!

Тишина. И новые поиски. Наконец, я со смехом вылезла из детской «колыбельки». Мы были так молоды, что все ужасы войны так и не смогли состарить наши души.

Разумеется, мама помнила и знала во много раз больше, чем я. Но у меня тоже были воспомина-ния – свои собственные. Главное, чтобы они проявились...

Сколько пришлось изъездить, гоняясь за необыкновенными впечатлениями и события-ми, не подозревая, что самые острые и яркие давным-давно отложены в памяти и хра-нятся где-то в самых глубоких ее подвалах, в самых дальних закоулках. Нужно просто спуститься в них. Это не так сложно: немного тишины и немного темноты. Глаза – при-крыть, как зашторивают окна фотолаборатории. Свет прошлого не должен смешиваться с солнечными лучами настоя-щего. И вот начинается погружение в Прошлое.

Фотольбом, старые дневники – вот и вся «машина времени»... Но тот слой, тот этаж, в кото-рый я спускаюсь – тут никаких фото, никаких записей. Полный фридайвинг. Только память и ее напряжение... Ориентир слоя: извив железной дороги. Двубашенный ко-стел... Я опуска-юсь сюда, как на парашюте. Я присутствую со стороны, незримо для всех окружающих.

НАШ ДОМ. Наш волковысский дом - бывшая сыроварня - стоял до 1959 года под красной черепицей. На чердаке когда-то сушили сыры и творог. Под домом - винный подвальныйчик. Говорили, что этот дом у железнодорожного переезда на Панской улице (потом Замо-стянской, ныне Зенитчиков) принадлежал местному железнодорожному жандармскому чину – Яновцу, а тот приобрел его у еврея-перекупщика. После революции жандарм, естественно, исчез, а в доме поселилась молодая семья демобилизованного бойца Красной Армии Федора Лоскота. В 1941 году к соснам, украшавшим участок, дядя Федя посадил и несколько американ-ских кленов. После 1945 года дом отошел городу, и все жильцы были уравниены в пра-вах, все члены кондоминиума. В одну из его выгородок с отдельным входом и поселили семью коман-дира роты старшего лейтенанта А. Черкашина.

Наша комната с огромным почти под четыре метра потолком. Все тепло от нато-пленной печки уходило ввысь. И потому в комнате всегда было прохладно и сыровато. Но простор над головой - очень важно иметь его в первые годы жизни.

Круглая чугунная печная дверка врезалась в детскую память почему-то на всю жизнь. За ней жило непонятное очень красивое и очень опасное существо - «Кых!» - огонь. Я по-знакомил-ся с ним ближе, когда схватился рукой за раскаленное стекло керосиновой лампы.

Однажды, ни с того, ни с сего мама достала меня из кровати и унесла в соседнюю ком-на-ту. А в той – большой – вдруг рухнул с потолка тяжеленный пласт штукатурки. Убил бы. Но ангел отвел, как сказала бабушка. В 1941 году дом испытал сильное сотрясение от рванувшей рядом авиабомбы. Потолок тогда не рухнул, но как бы заработала «мина за-медленного дей-ствия». И действие это растянулось на пять лет. Такое вот эхо войны...

ЕЛКА. Ну, конечно, стоит ребенку только-только появиться на свет, как счастливые роди-тели готовят ему новогоднее чудо, новогоднее счастье, как самое большое чудо в его детской жиз-ни. Разумеется, в тот самый первый свой волковысский новый год с декабря 1946 на 1 янва-ря 1947 я ни одного елочного отблеска не помню... Но не сомневаюсь, что елка была. Папа поставил ее для мамы с младенцем, и сам сделал крестовину для нее на верстаке дяди Фе-ди. А вот елку 1947 года на 1948 год теоретически мог бы помнить. Все-таки было уже 13 ме-сяцев. Но не помню. Хотя наверняка она стояла в углу самой большой комнаты и, ко-нечно, возле моей кровати. А вот новый год 1949 года, должен осесть в глубинах памя-ти. Да и Лариса уже намечалась очень активно. Утверждаю: помню. Что-то... Елку. Бусы. Игрушки. Счастливо-восхищенные лица родителей – чадо под елкой!

Помню!

И вот, что странно, чем больше набегает тебе лет, тем устойчивее ощущение, что ты только и занимаешься тем, что наряжаешь елку и разряжаешь ее. И пока ты запилива-ешь на антре-соль коробки с елочными игрушками и пластмассовым дедом Морозом, уже снова накатывает новый год, «бешеный, как электричка»... Ну и конечно, эта чудес-ная мелодия: «В лесу ро-дилась елочка, в лесу она росла...» Я даже знаю этот лес, где она росла – под Волковысском, в Замоквом лесу, конечно, она родилась... Разумеется, именно здесь, в Волковыске, услышал я эту бесхитростную трогательную песенку. У себя на елке. И пела ее мне, конечно, мама... Жалко, конечно, что ее «срубили под самый ко-решок», но ведь сколько радости детишкам принесла, и мне тоже... И никакие американ-ские «джингл беллз» не вызовут столько пре-красных воспоминаний, сколько эта «волко-выско-слонимская» марьино-рощинская «Елоч-ка»...

Валенки от дяди Коли, бабушкиного брата, ставили под елку с крестовиной от дяди Фе-ди. Трое дядей, трое добрых волхвов в моей жизни: дядя Федя, дядя Витя, старший папин брат и дядя Коля, старший бабушкин брат, живший на Верхней Волге в селе Марьино и валявшего зимнюю обувь. Но ключевая фигура моего раннего детства был, конечно, дядя Федя, или как я его называл – дядя Седя.

ДЯДЯ ФЕДЯ. Мир для меня, трехлетнего, состоял из нашей комнаты, где самой интересной вещью была круглая чугунная дверка, за которой в печи гудел огонь, из дворика-садика и колодца в нем.

Заглядывать в колодец мне строго-настрого запрещалось, но я все же — заглядывал, робея бездонной, казалось мне, воды, тускло поблескивающей в жутковатой темени бетонного ствола.

В смежной половине дома обитал пожилой согбенный бондарь, столяр и плотник, вечный труженик Федор Леонтьевич Лоскот - дядя Седя. Мое открытие большого мира началось с его столярной мастерской почти так же, как у знаменитого деревянного человечка. Я сидел на верстаке и следил, как выползает из рубанка душистая янтарная стружка. Потом сам зарывался в груды стружек под верстаком.

В мастерской дяди Феди всегда стоял восхитительный аромат свежих стружек, костного клея, мебельной политуры... Очень занимала лучковая пила, похожая на лук. Большая часть инструментов, развешанных по стенам, расставленных по полкам - лучковые пилы, фуганки, рубанки, киянки - были сделаны дяди Федиными руками. Делал он их из дре-весины граба или ясеня, добывая ее в окрестном Замковом лесу. Но главное его дело было мастерить дубовые бочки, нехитрую мебель, тележные колеса... Сколько же аистов свили себе гнезда на колесах, сработанных столяром Лоскотом?

Двадцать второго июня рокового года аистовое гнездо на крыше дяди Фединога дома было снесено взрывом авиабомбы, упавшей у железнодорожного переезда. Примета хуже некуда... Война пощадила дом и его хозяина, но унесла единственного его сына. Боец Забайкальского фронта Виктор Лоскот пропал без вести где-то в Маньчжурии. Должно быть, тогда, когда я болтал ногами, сидя на верстаке, дядя Федя все еще ждал своего сына, не веря в его гибель. Конечно, ждал... И маленький квартирантский мальчик был желанным гостем в его мастерской. Я с восхищением взирав, как закручивают-ся над рубанком пахучие завитки стружек, как брызжут опилки из-под звонкой пилы, как врезается в дерево блестящее отточенное долото... Собственно, то были самые первые впечатления полумладенческой-полудетской жизни... Проживи я в том доме подольше, и кто знает, может в ту пору, когда человек решает, кем ему быть, я бы выбрал старинное и благородное столярное ремесло, так что и сейчас еще при случае руки охотно тянутся к верстаку и рубанку. Однако, ни один завод не выпускает таких инструментов, какими работал дядя Федя. То был истинный Страдивари лучковых пил, Гварнери всевозможных зензубелей, фальцгобелей, шерхебелей... Как у Маршака:

*Ловко сделана колодка,
Не рубанок, а находка:
И хорош,
И пригож,
И на дедушку похож!*

Мир вещей поражал их обилием и разным предназначением. Особенно мастерская дяди Феди, его святая святых, в которую мне, как в алтарь, разрешалось иногда заглядывать. Мир это тоже большой верстак. Верстак с инструментами. Наверное, у Бога, прежде, чем он приступил к сотворению мира, был точно такой же дубовый, обшарпанный, исцарапанный с нечаянными подпилами верстак с множеством развешанным над ними инструментов — деревянных, железных, колючих, пилючих, долбучих, сверлючих...

Верстак порождал стружки. В стружках мягко валяться. Стружки вкусно пахнут. Стружки — украшают мир. Впрочем, дядя Федя так не считал, и все время очищал мастерскую от стружек...

Эти визиты в столярню с ранних лет и навсегда привили мне уважение к столярному, плотницкому делу. Много лет спустя, в последних классах московской школы у нас был такой предмет – «моделирование». Надо было делать из всевозможных чурочек, планок, обрезков досок замысловатые конструкции – «модели». Вот когда я вспоминал мастерскую дяди Феди. И если бы мне пришлось учиться в ПТУ, я бы выбрал, конечно же, специальность краснодеревщика.

Папа, несмотря на то, что изначально был металлистом, с огромным уважением относился к дяде Феде и его мастерству «деревянщика». Он годился дяде Феде в сыновья, и потеряв своего отца в 1944 году, расставшись с ним и того раньше – в 1939 году, возможно, видел в нем отца названного.

Однажды, спустя лет десять после того, как покинули дом на Замостянской, уехали из Волковыска, папа привез нас всех на своем боевом «газике» в Волковыск, к дяде Феде. Старик был очень растроган. И мы все вместе сфотографировались потом на память.

КОНДЕНСАТОР ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ. Я не знал, как правильно называется эта штука, но я нашел ее под верстаком у дяди Феди. Сейчас знаю – то был конденсатор переменной емкости и он завораживал своим непонятным назначением и точной механикой: одна (о, знамение времени!), гребенка пластин плавно и очень точно входила в другую гребенку, если покрутить специальный винт. А зачем? На этот вопрос никто не мог ответить. Даже дядя Федя. До седьмого класса пройдет еще немало лет, прежде чем на уроке физики поймешь, как площадь соприкосновения меняет электрический заряд, для чего все это нужно, и как влияет на радиоприем. Но в детской памяти осталось: одна блестящая гребенка плавно входит в прорезы другой. Рукотворное таинственное чудо. Артефакт времени.

КОЛОДЕЦ. Во дворе было таинственное очень влекущее место – колодец. Подходить к нему, заглядывать в него строго запрещалось. Но можно было стоять рядом, когда он поднимал из колодца ведро с водой. Можно было даже с его рук заглянуть в сырую темень колодца и рассмотреть где-то глубоко внизу отблеск нашего верхнего отверстия. Какая же тут, наверное, огромная глубина! Страшно! Бр...

Таких колодцев в округе много – круглые беленые бетонные кольца с кривыми рукоятками. Но колодец. Над ним, когда я родился, посадили яблоню. Вот оно истинное человеческое богатство – яблоня над колодцем. Дядя Федя, спустя много-много лет, угощал меня вином, сделанной из яблок этой яблони. Древо жизни....

Пили чай с мятой. Этим мятным чаем дядя Седа спас меня в детстве от глистов. Водкой на мяте вылечил себе почти отхваченный циркуляркой палец. Мята! Любимый травяной запах!

Поодаль от колодца, в глубине сада, за сарайчиком был вкопан в землю старый вагонный буфер. Он служил для всех соседей как бы общей наковальней. Здесь выпрямляли гвозди, и всякие железки. Буфер был хорошо оббит молотками и блестел живым металлом. На нем было удобно колоть найденные в саду орехи, а также абрикосовые косточки, извлеченные из компота. В сарайчике стояла еще одна наковальня, сделанная из куска рельса. Запасные топливные баки от самолетов были приспособлены дядей Федей для полива огорода.

В Волковыске я понял, что все люди делятся на военных и гражданских. Самые лучшие из них, конечно, военные (папа же среди них!). Военные тоже делятся на два лагеря – сухопутчики и летчики. Под Волковыском в России стоял авиационный полк и мы, мальчишки, часто видели в небе блестящие серебристые самолетики. Иногда за ними тянулись белые пушистые следы...

«Гражданские» состояли из железнодорожников, пожарных, и всех остальных малоинтересных горожан.

Ну, конечно же, с самого начала было ясно, что все люди делятся еще на мужчин и женщин. Женщин, например, не пускали в мужскую баню. А меня, мужчину, хоть и очень маленького, брали иногда в женское отделение. Ничего особенного я там не увидел. Просто много было мокрых голых теть, и все они шумно радовались горячей воде, мочалкам, мыльной пене.

Водила меня туда нянька Ядя, она же намыливала мне голову и обливала водой из тазика... В раздевалке я был очень удивлен, увидев, как сложно надевает Ядя свои чулки. У меня они, конечно, тоже пристегивались на резинке, но каждый чулок – по резинке. А нее почему-то на каждый чулок по две резинки да еще крепились они на специальный пояс невыносимой сложности...

После бани всегда было легко и приятно, и всегда дома пили клюквенный или брусничный морс. Это слово – «морс» мне нравилось так же, как слово «ситро» или «лимонад». Очень вкусные кисло-сладкие слова.

А еще люди делились на белорусов, поляков, евреев и немцев... Белорусы это те, которым принадлежало все вокруг – город и вся Белоруссия. Они были хорошие люди, судя по дяде Феде и моим местным друзьям, они придумали «драники» и много чего еще вкусного и интересного. Поляки – это тоже хорошие люди, но они все делали отдельно – отдельно молились, особо хоронились. Евреи – очень загадочные и непонятные люди. Они тоже отдельно молились и хоронились. Они даже лечились отдельно – в центре стоял «жидовский шпиталь» - еврейская больница, преобразованная в роддом. И о них, евреях, взрослые всегда говорили почему-то с опаской. А вот с немцами все было предельно ясно – враги. Немцев в Волковыске не было (на самом деле, они были, только в лагере для военнопленных). Всего как года три-четыре их изгнали отсюда. Но память о себе они оставили в городе горькую. Во-первых, немецкие самолеты почти дотла сожгли город в первые дни войны. И хотя особых военных объектов в Волковыске не было (все войска, которые тут стояли, почти сразу же ушли на запад, в район Белостока) немцы выбombливали кварталы еврейского центра. Во-вторых, немцы навели в городе свой жесточайший порядок с гетто и лагерем для пленных. Они же вывозили на расстрел людей в Пороховню – в лес, мучали их в гестапо. Теперь немцев победили, и все они кучковались в своей Германии.

Немного позже – уже в Слониме – узнал, что есть еще и татары. Они тоже живут, молятся и хоронятся отдельно. В Слониме до сих пор есть и татарское кладбище – мизар, и татарская церковь – мечеть. Кстати, и в Волковыске была Татарская улица. Но, видимо, татары здесь жили не столь компактно.

В Волковыске я узнал, что люди иногда умирают, и тогда их отвозят на кладбища. А кладбища бывают русские (могилки), польские (цментаж) – где очень много крестов, а также еврейские (хакаварот), где только одни плиты и стоячие камни. Нарядные гробы в цветах и венках провозили через весь город с очень грустной заунывной духовой музыкой. Покойников я ни разу не видел, но однажды узрел на постаменте гипсового мальчишка (это был Володя Ульянов) и решил, что таким белым и неподвижным может быть только мертвый мальчик. О том, что мальчики тоже умирают, я узнал с великим потрясением. Как могут умирать мальчики, дети?! Это никак не укладывалось в сознании. Но еще горшим несчастьем казалось, когда умирает мама. Такое вообще не возможно было представить, хотя в Волковыске

был целый сиротский дом, в котором моя мама работала врачом. И я просил небо, Бога, который жил в волковысской церкви, чтобы моя мама жила долго-долго, и Бог услышал меня: моя мама прожила почти 99 лет! Слава Богу!

Кроме похоронных процессий были еще (намного реже) и парады, когда духовая музыка звучала бодро, весело, призывно. Парады волковысского гарнизона проходили на главной площади города, там, где сейчас бронзовая волчица и памятник Ленину, который указывает рукой на эту волчицу. Часть, в которой служил папа, разумеется, принимала участие и в первомайских, и в октябрьских парадах. Отец шагал впереди своих солдат, и хотя мама все время показывала мне на него и говорила «смотри, смотри – па-па идет!», внимание мое было слишком рассеяно, хотелось увидеть сразу все и всех... Парады были скромные, не было ни кавалерии (хотя она испокон веку квартировала в Волковыске), наверное, не было и танков, большая их часть стояла в Слониме... Много лет спустя, уже когда мы жили в Москве, в дни больших праздников папа сзывал семейство к телевизору и мы все смотрели парад на Красной площади, а папа гордился проходящими войсками так, как будто и он шагал в этих ровнехоньких рядах...

ВЕЩИ ИЗ ВОЛКОВЫСКА

Дом – это корабль, плывущий во времени. Корабль – это дом, плывущий в пространстве. Настольная лампа, как проектор памяти, а лист бумаги – как белый экран. Вот два условия, не считая абсолютной тишины, чтобы на бумаге появились знаки, оживляющие события давно минувших лет... Вещи из Волковыска. Я помню их почти все...

САКСОФОН. Нечто золотистое, сверкающее, слепящее, все в кнопочках-клапанах, а главное гудящее-голосяще-поющее. Это папин инструмент. Он играл на нем в военном оркестре с 1939 года. Он кларнетист и саксофонист. Этот красивый, невысказанно сверкающий и поражающий своей сложностью папа привез из Риги. Это его главный военный трофей. Кто играл на этом саксе до него? Философический вопрос. Наверняка, какой-то немецкий военный музыкант. Военный? Значит, инструмент из военного оркестра? А может быть, играл какой-нибудь рижанин в ресторанном оркестре? Хороший инструмент. Дорогой. За него без сожаления на волковысском рынке отдали 16 кг сахара в мое прокормление. Выкормили. А саксофон раз и навсегда исчез в Волковыске, растворился там... Кто потом на нем играл? Ведь играл же... Кто-то...

ИКОНА. Темная, темная, в поблекшем медном окладе пядница – Корсуньская Божия Матерь – висела у нас в не самом заметном месте – на коврике над моей кроватью. В глаза соседям и гостям не бросалась. А любопытствующих всегда можно было отослать к няньке Тане. Ее, дескать, эта иконка... Но это была не ее икона. Ее привезла в год моего рождения из Москвы бабушка. Икона старая, еще прошлого века. Откуда она такая у ба-бушки – Корсуньская. Корсуньская, значит, с крымско-севастопольской земли, Херсонес, там, где принял крещение князь Владимир. Вот это иконка и навела меня на Севастополь, подарила мне этот город, сделала своим, родным... Однажды уже в десятых годах 21 века, я взял эту икону в Севастополь. Она была окраплена в Херсонесе, в Корсуне, а затем я поднял ее на Херсонесский маяк. Она, как бы вознеслась, на эту храмовидную башню, и засияла в сложной линзовой светотехнике. Круг замкнулся. Волковыск – Корсунь.

КАРТИНА. Настоящая, то есть написанная маслом, большая, в золоченой раме... На ней была написана излучина небольшой зарастающей речки, высокая роща на берегу. Ничего-то особенного, но она привлекала и держала взгляд... Она была в нашем доме всегда. И для

меня это старое полотно в поблекшей раме было символом нашего белорусского с сестрой детства. Картина перемещалась с нами по всем нашим городам и городкам. Она переехала потом в Москву и заняла, как всегда, в самой большой комнате главное место.

Эту картину мама купила, скорее всего, на рынке возле костела св. Вацлава. В довоенные времена процветал большой городской рынок в торговых рядах. Но после войны, после правильных антирыночных установок, подобие крестьянского привоза располагалось под стенами костела.

Возможно, раньше она висела в какой-нибудь ближайшей усадьбе.

Она хранила свою тайну и хранит до сих пор. По правому углу была прошита автоматной очередью, а дырки-пробоины потом кто-то грубо замазал голубой краской.

На картине была изображена излучина реки. Все домашние говорили, что это Щара. Река могла быть и Щарой, и Волоковой, и Зельвой, и Свислочью... Много позже, я отыскал точно такой же вид в натуре – в соседней (бывшей) Восточной Пруссии. Это была река Лава. Разумеется, изучил все надписи и знаки на полотне и раме. Картина была помечена 1914 годом, называлась «Herbst» (Осень) и принадлежала, если верить плохо разбираемой подписи, немецкому художнику Мюллеру. Но сколько художников с таким именем можно было найти в Германии? Так и не нашел подлинного творца картины. Да и за-чем? Она жила своей собственной жизнью. И ей не нужны были ни искусствоведы, ни аукционеры, ни всякие прочие оценщики... В каждое время дня она была немного другая, четко отражая свет утра, полдня или вечерней зари.

Эта картина да иконка-пядница Корсуньской Божией Матери – едва ли не единственные вещи сохранившиеся от той доисторической волковысской жизни, из старого дома дяди Феди, на Замостянской...

Нет! Есть еще одна! Шляпка деревянного грибка для штопки носков, сделанная руками и инструментами дяди Феди, и подаренная им маме. Смешная мелочь, но ведь живет же и память хранит! Живет и его рубанок из его мастерской. Когда дядя Федя умер, приехал его дальний родственник из Вильнюса и забрал все инструменты, сработанные руками «страдивари лучковых пил». А этот рубаночек с кривой ручкой мне достался. На вечную память!

Старинное кресло с высокой резной спинкой, обтянутой зеленым плюшем. Это кресло было куплено на рынке и доставлено в наше первое жилище для уюта и украшения...

КНИГИ. Редчайший и сладчайший случай: мама дома и читает мне вслух книгу. Не важно какую... Ну, хотя бы эту: «У меня жила мордашка. Звали ее Булька...» Толстой... А еще «Кавказский пленник». А еще про обезьяну, которая сорвала с мальчика шляпу и он полез за ней на мачту... Как все это зримо, никакое кино не покажет так, как читает мама... «А «Конец-Горбунок»? Вот уж книга всем детям книга! Чудом сохранил ее. Она третий или четвертый предмет, переехавший из того Волковысского дома в нашу современную московскую жизнь.

Ну и, конечно, «Детство Тёмы»! Мальчик лезет за щенком по веревке в колодец... Я уже знал, как жутковато выглядит шахта колодца, и хорошо представлял, какой храбростью надо было обладать, чтобы совершить такой подвиг. Мог ли я тогда подумать, что пройдут годы и моего внука назовут в честь этого мальчика – Тёмой? Дочь, прочитавшая в детстве этот рассказ, была впечатлена не меньше моего, вот и назвала сына-первенца Тёмой, Артемом. Полагаю, что не одна она это сделала. Все Тёмы из этой замечательной книжки Николая Георгиевича Гарина-Михайловского. Едва ли не она принесла наибольшую литературную славу писателю. «Приключения Буратино». Удивительная сказка! Какой мальчишка не узнавал себя в деревянном озорнике, не попадал в лапы проходимцев типа кота Базилио и лисы Алисы? А я узнал в столяре Джузеппе своего дядю Федю. Вот он бы точно смог выстрелить маленького человечка и вложить в него живую душу...

РАДИОПРИЕМНИК «БАЛТИКА». Да я уже тогда знал, что такое радиоприемник. И как горит у него зеленый кошачий глаз, когда он работает. Но патефон привлекал был интереснее. Патефон вращал пластинку, и у него была остроклювая блестящая головка, которая могла поворачиваться во все стороны. Я знал, где хранятся иглы от адаптера, как хитро выдвигается потайной уголок. Еще знал, где тормоз. Но самое главное – это блестящая никелированная рукоятка, которой надо заводить патефон, и я заводил, и у меня получалось! Вот, пожалуйста: «Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленки тоже хотят жить...» Несомненно детская песня! И мы с сестрой ее распевали.

А вот от этой мелодии замирало сердце – «Полонез»!

ПОЛОНЕЗ. «Полонез» Огинского был впервые услышан в Волковыске из-под патефонной иглы. Пластинка апрелевского завода с красной этикеткой. Мелодия очаровала на всю жизнь... Особенно подкупает то, что она была написана именно в этих местах и уроженцем здешнего края. Тут тебе и Слоним, тут тебе и сморгонское Залесье... Какая пронзительная мелодия! Светлая печаль и щемящая нежность, ручеек сладкой печали с перекатами нежной грусти.

Полонез этот – медальон польской души, ее музыкальный абрис, ее грустный гимн. Да только ли польской? Нет в России музыкальной школы, где бы не звучал этот напев под робкими ученическими пальцами. Нет такой русской души, которая бы не пригорюнилась под плавные волны этой песни прощания.

Щемяще нежные переливы грустной мелодии наплывают из глубин детства, с родины этого прекрасного полонеза – из холмистых дубрав принеманского края, из старинного городка над рекой Щарой – Слонима.

Написал пронзительное «Прощание с родиной» Михаил-Клеофас Огинский, уроженец здешних мест, молодой польский офицер, который в годину восстания Тадеуша Костюшко собрал на свои средства боевой отряд. Жил он в Слониме и окрестном поместье. Часть моего детства тоже прошло здесь, на берегах дремотно-медленной заросшей зеленью Щары. Может быть, поэтому полонез Огинского звучит для меня по-особому нежно и грустно, живо воскрешая мосты над Щарой, которая казалась тогда рекой и шириной, и полноводной. Кажется, и суденышки какие-то по ней с баржами сновали. Ее зеленая гладь возникает перед глазами при первых тактах «Полонеза»...

Для меня эта «слонимская сюита» неразрывно связана с заброшенными усадебными парками гродненского Принеманья и сосняками на песчаных берегах Щары ли, Вилии, Росси, с островерхими костелами и руинами панских замков, армейскими стрельбищами и полевыми аэродромами, близ которых служил отец.

Ференц Лист сказал о полонезах Огинского: это «шествие, некогда торжественное и шумное, но ставшее молчаливым и сдержанным при приближении к могилам, соседство которых умеряет надменность и смех». Как точно сказано! Чего-чего, а могил на здешней земле, и прежде всего братских, воинских – в переизбытке. И если Огинский, покидавший любимый край, прощался с отчими могилами, фамильными склепами при слонимских костелах, то по происшествии двух веков к ним прибавились кресты над холмами, где лежали солдаты наполеоновских войн, обеих мировых, гражданской, советско-польской и каких еще только иных кровопролитий. Даже плиты с именами слонимцев, погибших в Катыни, тоже легли сегодня здесь. И над всеми этими скорбными камнями вьется светлый реквием Огинского, как дымок поминальной свечи. Быть может потому он так созвучен – не по ритму, конечно, по настроению – вальсу «На сопках Маньчжурии».

На одной Новогрудской возвышенности родились и Огинский, и Адам Мицкевич. Был он современником Шопена и Пушкина. Во всяком случае, оба они слышали и слушали «Прощание с родиной», которое исторгла душа великого композитора, начертавшего на своем девизе слова «свобода, постоянство, независимость».

Родившись в 1765 году, Огинский по тем бурным временам прожил немало - 68 лет. Скончался на чужбине – в Италии в 1833 году.

Кажется, такты полонезы прочерчивают ступенчатый силуэт города, взлетают острыми башнями храмов, ниспадают к ровным крышам. Так и видится нотный стан, с набросанными рукой гения музыкальными знаками.

После того как побывал в его усадьбе под Сморгонью – в Залесье, побродил по его чудом уцелевшему парку и покоям усадьбы вдруг понял, что эту нежную и в целом бесхитростную мелодию нажурчала композитору речушка Драй-Бобрынька, бегущая к старому пруду.

Вещи из Волковыска... Как ни странно, их оказалось не так уж и мало, которые появившись в нашем первом семейном – волковысском - доме, побывали потом и во всех остальных домах- белорусских и московских. Все они верой-правдой служили семь десятков лет, да и сейчас еще иногда послуживают.

Это картина в черно-золоченной раме – «Щара», как переназвал ее я.

Это иконка «Корсунская Божия Матерь».

Это затертая книжечка «Конек-горбунок».

Это папина прозрачная тактическая линейка с прорезями.

Это елочная игрушка из серебристого картона...

Это – самое главное, быть может – наши детские волковысские фотографии.

Это, наконец, папины фронтовые ордена, они тоже «жили» на улице Зенитчиков 10.

А еще любимый мамин наперсток и деревянный грибок для штопки, сработанный руками дяди Феди. Это письма от дяди Феди.

А еще – фикус-феникс. Он, конечно же, феникс. Он, конечно же, не тот самый, не бабушкин, не из Москвы, доставленный в Волковыск из Марьиной Рощи. Но ведь возродился же, возник на нашем подоконнике не сам по себе, а в память того самого, волковысско-го. Реинкарнация своего рода.

Итак, подведем итоги. Картина. Икона. Книга. Фотографии. Письма. Самые главные вещи на земле. Вещи, которые никогда не были выброшены, и которые теперь уже, навечно, пребывают рядом.

Отца в те годы я почти не помню. Он с утра до темна пропадал на службе. Летом же уезжал со своим полком в палаточный лагерь куда-то под Барановичи. Родной дед жил от нас далеко в Москве. Так что дядя Федя заменял мне на первых порах и отца и деда. Во всяком случае, весь круг взрослого мужского общения, столь необходимый каждому мальчугану, составлял для меня именно он - дядя Седя, Федор Леонтьевич Лоскот, бондарь и столяр, некогда красноармеец 33-ей стрелковой бригады ЧОНа, сопровождавший арестованного царя в Сибирь и воевавший там с войсками Колчака... Так моя маленькая трех-с-половиной-летняя жизнь соприкоснулась с Историей...

Впрочем, к истории тут можно было приобщаться на каждом шагу, ведь Волковыск впервые упомянут в летописях Черной Руси аж в 1005 году (на полтора столетия раньше Москвы). А ведь и того стоял он на узенькой, но чистойшей, словно роса, речушке Россь, как небольшая крепость, как торговое поселение. Разводили тут ястребов-тетеревятников для княжеской охоты на птиц.

За рекой - неподалеку от нашего дома двугорбая - Шведская гора, насыпанная, как говорили старики, шапками плененных Карлом XII русских солдат. На самом деле, это было древнее городище, самая завязь Волковыска. За Шведской горой - Мышинные горы и Замковый лес. В нем Волковысский замок, в котором Ягайло принял в незапамятные времена княжескую корону.

Но волковысцы жили той историей, которая была для них еще вчерашним днем - город хорошо помнил трехлетнюю жизнь «под немцем».

Какое счастье, что я родился не в каких-нибудь Электроуглях, или в Изоплите, или Аппа-ти-тах, а родился в Волковыске, древнейшем городе Восточной Европы. Место моего рождения выбрал некий генерал, определивший полк, в котором служил мой отец, на постой близ Западной границы страны в небольшом, но старинном городке Волковыске.

В середине 80-х годов я приехал в Волковыск, спустя лет сорок после многих пере-ездов, странствий, путешествий. Приехал из Москвы, чтобы повидать родные места. Город был все так же тих и зелен. Первое, что ощутил - необыкновенную легкость дыхания, с плеч - будто тяжеленный рюкзак свалился. Вот уж точно поется - «воздух родины, он особенный, не надышишься им...». А от воздуха июньского лета, напоенного горькова-тыми ароматами сирени и жасмина, и вовсе кружилась голова.

Особнячок с полукруглой мансардой утопал в кущах жасмина и сирени. Двести лет назад здесь звенели девичьи голоса, играли Шопена. Потом в таком же июньском кипенье цветов пришла кавалерия Багратиона, и в особнячке разместился штаб князя Баг-ратиона. Теперь в нем военно-исторический музей... Интересно, что «при Польши» этот особняк называли «дом Наполеона». Имя французского императора кому-то грело душу больше, чем имя российского полководца. Оно и понятно...

Наш дом близ железнодорожного переезда на бывшей Замостянской, а ныне ули-це Зенитчиков, я узнал по наитию: кажется тот самый. На всякий случай решил уточнить. Позвонил в первую же дверь (в доме коммуналка) вышел какой-то старик.

- Вы не знаете, где здесь жил Федор Леонтьевич Лоскот?

- Почему жил? Я и сейчас живу... Никак, Коля?! Что ж ты, Колюшка, осивел так рано?

Он мгновенно узнал во мне, седом сорокапятилетнем мужике, того самого мальчика, что сидел у него на верстаке! Узнал сразу, хотя поначалу ему показалось, что это вернулся к нему сын, пропавший на войне в Маньчжурии. И мы обнялись, и сели под яблоней, ко-торую поса-дили в день моего рождения, а потом пили домашнее вино из тех самых яб-лок, что по-преж-нему приносила старая яблоня. А еще я узнал в доме печную заслонку! Круглая дверца с вин-товым поджимом. Кых! Но она была холодной... И мастерская стоя-ла, как прежде, и верстак, и инструменты были развешаны по стенам сарайчика... Он все еще работал этот папа Карло, а я чувствовал себя негодным блудным Буратино, ко-торый, наконец-то, вернулся к старику. Здорово, он, конечно, постарел - и то сказать: де-вятый десяток разменял. А вот руки у дяди Феди были молодыми - от беспрестанной ра-боты с них по несколько раз кожа сходила. Вот и молодели они.

Жена его Мария, моя крестная мать, несколько лет назад покинула сей бранный мир. Крест на ее могиле Федор Леонтьевич сработал сам... Потом взял в жены приветливую немолодую женщину - Елену Калиновну. Она нам и стол накрывала.

Говорили про все, что накопилось за столько лет.

В первую мировую дядя Федя воевал где-то за Варшавой, а в гражданскую - в Сибири, в 33-й бригаде ЧОН (частей особого назначения), которая в штыковую ходила на войска Колчака.

При «польском часе» у дяди Феди в паспорте стоял штамп «Православный». На хо-ро-шую работу с такой отметиной не брали. Возможно, «дефензива» знала и его службе в ЧОНе Красной Армии. Не жаловали. Но у него всегда была своя работа - в столярне. Войну вспо-минал:

- Немцы бомбили нефтебазу, вон она тут рядом - как стояла тогда, так и стоит, две бом-бы упали у самого переезда. Аж весь дом затрясло. Воронки до самой воды доходили. Ключи били... И сделали они у нас тут Германию. И Гродно, и Белосток, и Волковыск до самой Зельвы все у них считалось Южной Пруссией, и даже рейхсмарки ходили, а не оккупацион-

ные бумажки. Но легче от того никому не стало... Гестапо тут лютовало и като-вало... Узнал я от дяди Феди, что в Волковыске сеют мак. Наркомания и сюда добралась! А мы-то маками букеты полевых цветов украшали и мамам дарили. О времена!... Нынешней зимой дед заработал себе грыжу – работал истопником при аптеке, таскал брикеты угольные и надорвался.

Старик прекрасно разбирался в политике. Горбачева неспроста называл Рогачевым.

- Этот пошустрей Хрущева будет.

Тогда мы не знали, что неподалеку от Волковыска велось секретное подземное строительство – строили бункер для «Рогачева» - подземный центр управления вооруженными силами.

- Цистерны с нефтью идут на запад каждый день. В Польшу и далее.- Вздохнул дядя Фе-дя. – Что будет с Россией через двадцать лет? Разграбят, поди...

И ведь не ошибся...

А мимо нашего дома, мимо опущенного шлагбаума, проходил воинский эшелон с запыленными танками на платформах - где-то шли учения... Наверное, вот так же и в сорок первом катили составы на запад, в Белосток. Хотя и год-то уже стоял 1988-й, но во-круг мало что изменилось. Вокзал... Скверик. Старые вязы с вороньими гнездами, про-копченными паровозными дымами. Мимо старых афишных тумб прогрохотала конная повозка. На откосах железнодорожного полотна мирно паслись коровы; они обмахива-лись кончиками хвостов степенно, с достоинством, словно гранд-дамы веерами. И кру-жили над своими гнездами аисты, неволью напоминая песню: «Аист на крыше, аист на крыше – мир на земле...»

Последний раз я навестил дядю Федю в апреле 1988 года. Он вынес из мастерской только что сработанный восьмиконечный дубовый крест:

- Вот моя последняя работа ... Это мне на могилу поставят.

Полагаю, что и гроб он себе сколотил заранее. Так оно и вышло. Схоронили дядю Федю 10 сентября 1988 года на кладбище в Пороховне. Умер он в тот же год нашей по-следней встречи - 11 сентября 1988 года. Без малого не дожил до ста лет. На похороны я не успел.

Узнал, что дядя Федя родом из барановической деревни с замечательным назва-нием - Добромысль. Был добрый человек из Сезуана, и был добрый человек из Добро-мысли...

На память о нем в нашем доме остался деревянный штопальный грибок, сработан-ный его золотыми руками. Так до сих пор и хранится в маминой коробке для шитья. И еще – в пода-рок от старого мастера - рубанок его мастерской работы...

Съездил к дяде Феде потом – поклонился могиле, свечу зажег... Крест стоял прямо и стройно. Все опушки, откосы пустыри и поляны в сине-фиолетовых дроках. Пороховня, как и все окрестные милые солнечные соснячки, таила мрачные тайны массовых рас-стрелов, не-найденные братские могилы, подземные шахты, стоявших на боевом дежур-стве ракет. Те же Мышинные горы, место, где немцы расстреляли несколько тысяч волко-высцев. Те же Шаули-чи...

«Поводом к расправе с мирными её жителями, - пишет белорусский историк, - стало убий-ство главного врача Волковысского повета доктора Мазура приходившегося шури-ном шефу белостокского гестапо. Мазур состоял в нацистской партии и люто ненавидел поляков. Очень много людей с его помощью арестовало гестапо, а других он помог от-править в Германию на каторжные работы. Кто убил его - советские партизаны или под-польщики Армии Крайовой так и осталось до конца невыясненным. Но прибывшие на место происшествия немцы с по-мощью овчарки по следам вышли к деревне Шауличи, где осведомительница, местная немка, бывшая учительница сельской школы, вышед-шая замуж за шауличского парня по фамилии Коженевский, сообщила, что в деревню приходили трое партизан.

Приказ об уничтожении Шауличей мог поступить только из Белостока, административно-го центра «Бецирк Белосток» – округа Белосток, в который входил и Волковысский повет. На

тот момент шефом Белостокского гестапо был доктор Зиммерманн, который приказал провести акцию возмездия именно в этой деревне. Чудом уцелевший житель Казимир Степанович Дуда поведал:

«Все мы прекрасно знали приказ немецких властей, что за убитого в деревне или возле неё немецкого солдата будет расстреляно шесть человек заложников. Но того, что случи-лось спустя полчаса, никто и представить не мог.

В гумнах, где заперли людей, широкие двери для въезда лошади с телегой всегда дела-лись со стороны улицы. Сбоку, в торце, оставлялись узенькие двери для запасного выхо-да. Через них и начали выводить наружу людей. Грузёный обоз стоял метрах в 300 от вырытых ям, и нам со стороны было хорошо видно, как происходила та жуткая акция по уничтожению людей. По обе стороны приговорённых к смерти жителей Шауличей стоя-ли солдаты с автоматами в руках. Скорбный земной путь заканчивался возле ямы. Не вырвешься. Не убежишь. Даже если бы и вырвался, то через тройное оцепенение не проскочишь. Даже курица не смогла бы вырваться из обречённой деревни, не то, что человек.

Как только человек подходил к яме, раздавалась короткая автоматная очередь, и тело падало на дно. Не все погибали сразу. Падали в могилу и раненые, но их не добивали – следующие тела надёжно прикрывали и мёртвых, и пока ещё живых. Через час всё было кончено. Мужикам из обоза велели взять лопаты и идти закапывать могилы. Когда по-дошли к краю ям, перед нами открылось страшное зрелище. Недобитые люди, лежав-шие внизу, пытались вы-браться наверх, к жизни, но, придавленные сверху тяжёлой мас-сой мёртвых тел, лишь шеве-лили трупы. Казалось, мертвецы поднимаются из могил. Вместе с тем могилы не молчали, а стонали. Как будто стонала сама земля».

И это была земля моего детства...

Побывал я в Волковыске и на стыке столетий. Почти не узнал преображенный после оче-редных «дожинок» 900-летний городок. Да и не городок он вовсе теперь – разросшийся город, полноправный районный центр. На главной площади тотем Волковыска – бронзо-вая волчи-ца. Перед старинным шляхетским особнячком, где военно-исторический музей – на бессмен-ном посту бронзовый генерал Багратион. Здесь он квартировал вместе со штабом 2-й армии двести лет назад. Лишь одна Шведская гора осталось неизменной, древнее городище встрети-ла меня цветами и травами моего детства. Прошелся по ней босиком под летний дождик...

Даже наш дом, дом дяди Феди, что у железнодорожного переезда, и тот обзавелся со-временными аксессуарами: спутниковой тарелкой, пластиковыми окнами... Шлагбаум – ав-томат. Шпалы на переезде бетонные, да и рельсы, конечно же, другие. Снесли сто-лярную мастерскую. Внучатый племянник дяди Феди из Вильнюса забрал к себе все его уникальные рукотворные инструменты – лучковые пилы, рубанки, фуганки, шерхебели, зензибели... Не-волью вспомнились детские стишки:

Свистнул тоненький зензибель:

- Без рубанка нам погибель!

Старый дедушка-верстак

Крякнул грустно: - Это так...

Где он теперь этот верстак? Позвонил я в Вильнюс, и рассказал мне племянник одну вещь, о которой я не знал. Оказывается, старый колодец, который чудом сохранился в поредев-шем саду, вырыл сам Федор Леонтьевич. Оставил по себе криницу с прозрачной водой, чи-стой-пречистой, как его жизнь.

БАНЯ. Своей бани у дяди Феди не было, и мы ходили, точнее меня водили в городскую баню либо он, либо папа.

На всю жизнь эта городская баня оставила впечатление ада. Гулкий грохот оцинко-ванных шаек в парном тумане, плеск горячей воды из больших чугунных кранов с деревянными ручками, Страх ошпариться. Громкие возгласы, крики... Толчея чужих голых людей. Среди них много молодых крепких калек со свежими кульями - инвалиды не-давней войны. Парная - эпицентр этого банного ада. Туда лучше не заходить. Там хлещут друг друга венниками безногие, однорукие дядьки. Дядьки – это для меня, на самом деле – молодые парни, вернувшиеся с войны год-два-три тому назад... Для них парилка – единственная радость жизни, оставленная им войной.

И еще одно впечатление от той старой бани: висящая в воздухе липкая лента с мухами...

Одно из самых жутковатых зрелищ детства... Как же они корчились там, дрыгались...

Иллюстрация к бабушкиному рассказу «Грешники в аду»...

Слонимская баня - мрачное краснокирпичное сооружение на берегу Щары - была не лучше. Сквозь плотные клубы пара громоздился серый куб печи с шипящим зевом. На его вершину вела деревянная лесенка, и те, кто взбирался по ней с вениками, были в моих глазах несчастными мучениками - их хлестали там с криками, воплями... Там тоже было полно инвалидов. Смотрел на них и не мог представить: как же им было больно, когда отрывало руку или ногу. Тут палец порежешь и то слезы из глаз... Страшное дело война. Только в бане это и поймешь...

В окнах мыльного зала - мутные зеленые стекла с вплавленной внутрь сеткой. Сквозь них едва пробивался дневной свет. Самое приятное в бане - окачивание прохладной водой из шайки. Ух, какая благодать! И скорее в раздевалку – одеваться.

Года три назад, заехав из Москвы в Волковыск, я решил побывать в городской бане. И побывал. Разумеется, никакого ужаса детской души, не испытал. Замечательное помывочное учреждение с неплохим буфетом. Да и инвалидов уже не было.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ. Поперек кожаного кресла положили перекладину и посадили на нее меня. Первая стрижка.

- С чубчиком! – Просит мама. Парикмахер очень важный пожилой мужчина с черными усиками, в белом халате, очень похожий на врача, соглашается с ней:

- Сделаем с чубчиком в самом лучшем виде!

Я впервые вижу себя в таком большом зеркале. Вокруг сияют лампы, блеск инструментов и зеркал завораживает. От холодной машинки пробегают мурашки.

«Чик, чик, чик...» - Стрекочет ручная машинка. Падают на покрывало мои волосы. Сколь-ко их! Очень хочется подержать в руках волшебную машинку. Но ведь не дадут...

- Освежить? – Осведомляется парикмахер. Мама кивает. В руках мастера флакон с резиновой грушей.

- Закрой глаза!

Закрываю. И на меня обрушивается душистое прохладное облако из пульверизатора (так называется флакон с грушей на резиновой трубке) Хорошее это дело – парик-махер-ская. Вот только выговорить трудно, все время получается – «паликмастерская»

ЭРИК. МОТОЦИКЛ. ШВЕДСКАЯ ГОРА. А еще мир прекрасен потому, что в нем водятся со-баки и существуют мотоциклы. Особенно, если это твоя личная, общесемейная собака Эрик, а мотоцикл вовсе не чужой, а папин.

Папа за рулем, а мы с мамой в мотоциклетной коляске.. А рядом бежит изо-всех сил, догоняет, наш пес Эрик. Это незабываемо. Это восторг! Папа, мама, мотоцикл, собака, Волковыск... Триумфаторский мотопробег по Волковыску. Берлин взят, теперь можно кататься,

сколько хочешь. Даже на Шведскую гору въехать и там слегка завалиться на бок вместе с мотоциклом, беременной женой и маленьким сыном. Но так – слегка, чтобы никто не пострадал...

Потом по жизни у меня было много разных собак. Была даже кавказская овчарка, здоровенный кобель Дельф. Но все же самую первую собачью улыбку подарил мне волковысский двор-терьер Эрик. А вот мотоцикла никогда не было... Не довелось. Несколько лет назад нашел по дороге на Шведскую гору кусок ржавой мотоциклетной цепи. Не от нашего ли?! Наш продали, когда родилась Лора. Нужны были средства на содержание разросшейся семьи. Судьба Эрика печальна. Где-то стащил кусок солонины, а потом пил из реки воду много и жадно. Организм не выдержал. Сдох. Но нам с сестрой об этом не сказали. И вскоре – уже в Слониме – завели новую собаку, очень похожую на белого шпица – Читу.

На Шведской горе были сделаны и первые ботанические открытия. «Заячья капуста» это совсем не то, что я думал. Я думал, что на вершине Шведской горы растет именно заячья капуста – зеленые розетки, такие похожие на маленькие кочанчики. На самом деле – это камнеломки, а заячья капуста – это тоненькие кисловатые на вкус трилистнички. И их можно есть. А еще можно есть сладковатую клеверную «кашку» и высасывать все-возможные медоносы... А еще есть потрясающие цветы – одуванчики. Разве это не чудо – бело-пушистый шар, вместо лепестков, который потом разлетается во все стороны от первого дуновения?! А носики, разлетаются, как маленькие вертолетики!

Да, мир вокруг был восхитительно живым – он жужжал, квакал, щебетал, летал, прыгал, скакал... Зоопарк в Волковыске не было (в Гродно был), впрочем, зоопарком было все, что окружало наш дом. Первые и наиглавнейшие его обитатели: головастики с лягушка-ми, стрекозы, майские жуки, земляные черви из-под дяди Фединой лопаты на огороде, окрестные петухи, кукушки, вороны, воробьи, синицы и снегири зимой...

Кони – вот, кто заменял нам слонов, жирафов, бегемотов и всех крупных обитателей зоопарков мира.

Как завораживали они взгляды своей неспешной силой, своими гривами, своими челками, как великолепно пахли их огромные тела, и все, что они выбрасывали на снег или на дорогу... Летом – громыхали на волковысском «бруке», (бульге, асфальта в городе не было), окованные колеса телег, зимой – шорох санных полозьев.

Сосна! Несколько сосен росло прямо возле нашего дома. Беларусь славится своими сосновыми лесами. И хотя по «гороскопу друидов» я яшень, сосна – любимейшее дерево. Да и что может быть красивее ее медно-золотистых стволов на раннем или позднем солнце?

Дубы! Это такие могучие деревья, под которыми всегда можно найти желуди, молодые зеленые или старые желтые, и как же они похожи на стреляные гильзы.

Такие географические понятия как река, пруд или гора тоже постигались в Волковыске очень естественно. Вот вам речушка Волоковья или Россь (для ребенка – река, да еще с мостом и запрудой). Пруд – это скопище всякой водяной живности и растительности, пруд открывался по пути на Шведскую гору. Ну, а уж гора – вот она, как будто специально сделана, как натуральный макет для детей. «Дети, вот это и есть гора. Ну, не совсем настоящая, бывают горы в сто раз выше. Но и эти горы Шведская и Муравельник тоже хороши по-своему.

ТАЙНА «МОГИЛЫ НА ШВЕДСКОЙ ГОРЕ»

Самым красивым зданием города был (и остается на мой уже взрослый взгляд) двух-этажный особнячок с балконом между колоннами – тот самый, в котором расположен музей, и в котором давным-давно жил Багратион. Багратион, как объяснил папа, это полководец почти такой же, как Кутузов или Суворов, и жил он лет сто, а то и больше назад. Этого было достаточно, чтобы поглядывать на памятник полководцу с почтением. Волны жасминового аромата

плыли по волковыским улочкам... Памятник Багратиону в турецкой гвоздике, особнячок под акациями.

Прошли годы, и я узнал, что на Шведской горе стоял когда-то памятник, и он связан с именем Багратиона...

Я всегда полагал, что война 1812 года – это очень-очень давняя война и ее события лично меня никак не касаются. Возможно, какие-то мои пра-прадеды и участвовали в ней, но мне о том ничуть не ведомо.

И вдруг оказалось, что совсем немало людей вокруг меня знают и помнят ту, казалось бы, навсегда отошедшую вглубь истории войну, чтут и помнят по своим родственным, никем не оборванным нитям.

И вдруг оказалось, что и в мою жизнь влетело однажды то ли русское, то ли французское ядро и мирно улеглось на книжную полку в качестве сувенира. Ядро от трехфунтовой пушки выкатилось мне под ноги из отвала какой-то строительной траншеи, проложенной под городком моего детства – Волковыском. А сам Волковыск оказался местом дислокации 2-й Западной русской армии, которой командовал генерал Петр Багратион. Штаб и квартира генерала размещались в небольшом панском особнячке с мезонином на двух колоннах. (Кстати, и во время Первой мировой войны в городе находился штаб главно-командующего Северо-Западным фронтом). В особнячке сейчас музей Багратиона, да и всегда, сколько себя помню, этот приметный дом на улице Багратиона был музеем, а перед ним стоял и стоит бронзовый бюст генерала-героя. Вот с Багратиона да пушечного ядра у меня все и началось. Все – это большой круг нового изыскательства по теме бу-дущего романа.

Да, еще была старая открытка, которую я не смог купить в Варшаве (деньги были на полном исходе), но перефотографировал. Вот она – с надписью «Вершина Шведской моги-лы» - на самой вершине чугунная стела с барельефом скорбящего воина. «Шведская мо-гила», точнее, Шведская гора – это все там же, в Волковыске: 30-метровый холм высился и высится недалеко от нашего дома по улице Зенитчиков. Мальчишками мы играли на ней в войну, ничуть не подозревая, что полтора года назад на горе стояли дозором русские солдаты из 2-й Западной армии. Однако никакой могилы на Шведской горе не бы-ло, и никакого памятника тоже. Правда, волковыские старожилы говорили, что слышали от своих дедов, будто эту гору насыпали пленные шведские солдаты, разбитые Петром Великим; каждый, проходя мимо, приносил сюда шапку земли. Но и это оказалось ле-гендой. Шведская гора, как установили археологи – древнее городище, где стоял замок, державший под контролем торговый волок между Бугом и Неманом по реке Россь.

Но памятник-то когда-то стоял! И стоял по меньшей мере до 1918 года. На открытке в сильную лупу можно прочесть надпись на чугунной стеле: «Товарищу – устюжцы».

Кто такие «устюжцы», какому «товарищу» поставили они этот памятник и куда этот памятник потом подевался – все это загадка на загадке. Но разгадали ее белорусские историки.

Итак, «устюжцы» - это солдаты и офицеры 104-го Устюжского пехотного полка, стоявшего, в конце XIX века в Волковыске. Полк носил имя князя Петра Багратиона. А потому поки-дая Волковыск и перебираясь в город Августов, устюжцы поставили в память своего ге-ройского шефа стелу на Шведской горе, назвав героя Отечественной войны – «товарищем», своим товарищем по полку, по оружию. Впрочем, это гордое слово «товарищ» не спасло памятник от разрушения другими «товарищами», которые не то, что безымянный памятник не пощадили, но и самую гробницу Багратиона, взорвав ее в 1939 году на Бо-родинском поле.

Не так давно судьба занесла меня в город Августов, который теперь принадлежит Поль-ше. Удивительно, но военный городок Устюжанского пехотного полка сохранился. И даже название «багратионовский штаб» за ним закрепилось. Сохранился Никольский полко-вой храм, но с 1921 года это костел матки Боской Ченстоховской. В бытность русской пол-ковой церкви, историк отмечал:

«В стенах храма имеются мраморные доски с указанием по годам доблестных подвигов полка. Иконостас соснового дерева, выкрашен в бирюзовый цвет с резьбой и позолотой. В храме заслуживают внимания две посеребренные люстры, сделанные в полковой оружейной мастерской усердием оружейного мастера и слесарей нижних чинов. Под-свечники люстр сделаны из старых медных шомполов с бахромою из оболочек пуль 3-х линейной винтовки; в алтаре хранится рапорт Его Императорскому Величеству Началь-ника Главного Штаба 2-й Западной Армии Генерал-Адъютанта графа Сент-Приеста от 14 сентября 1812 года о смерти князя Багратиона».

Разумеется, все эти реликвии за минувшее столетие со всеми войнами и революциями пропали без следа. Сохранился полковой плац, но вместо памятника Багратиону, кото-рый поставили устюжцы, теперь монумент в честь 1-го полка Креховецких уланов.

Вот и вся разгадка «Могилы на Шведской горе».

Стал раскапывать свою весьма спрессованную память, как археолог – по годичным коль-цам. И тут выяснилось, что совершенно ненамеренно – так получилось само собой – я побывал почти во всех городах и весях, через которые пролегла траектория жизни Багра-тиона: Волко-выск, Слоним, Слуцк, Смоленск, Бородино, Санкт-Петербург, Павловск, Русе (Руцук), Север-ная Италия... Занесло меня даже в ту самую монастырскую гостиницу в Сергиевом Посаде, куда привезли с Бородинского поля смертельно раненого Багратиона. Более того, довелось познакомиться и с его родственницей княгиней Багратион. Это произошло в Вене во время визита советского отряда речных кораблей в очередную го-довщину Победы.

После того, как я открыл для себя всю эту цепь случайных совпадений (а может быть и не таких уж случайных?) возник вполне осмысленный интерес к личности Петра Ивано-вича Багратиона.

Да, феноменальный полководец, стратег, да – правая рука Александра Суворова в Ита-лийском и Швейцарском походах, сподвижник Кутузова. Так еще и согерой немислимого любов-ного треугольника, где с одной стороны он, с другой – младшая сестра российско-го импе-ратора Екатерина Павловна Романова, а с третьей – никто иной, как сам Наполе-он, который отдавал Багратиону должное, как полководцу, но никак не предполагал, что они станут сопер-никами в любовном поединке, и он, Бонапарт, поединок этот проиграет: Екатерина Павловна откажет ему, а вот генерал Багратион добьется взаимности. Правда, за это придется заплатить ссылкой из столицы, подальше от предмета обожания. Так Петр Иванович Багратион оказал-ся в Волковыске

КОСТЕЛ В ГРОДНО. Мама поехала из Волковыска в гродненский облздравотдел, повезла какие-то документы и меня захватила. И вот я впервые вижу город больше Волковыска. Грод-но. Огромный. Старинный. Красивый... Врезалось в детскую память на всю жизнь: высокий костел о двух острых башнях и причудливых колокольнях, а в вечернем небе над храмом и городом орет-мельтешит сонмище ворон. О, как они галдели! Стою зача-рованный, запро-кинув лицо в небо. Гродно. Костел. Вороны... Впечаталось намертво. И что потом из всего этого сложилось? Как и в чем отразилось? Не знаю. Просто Гродно. Просто костел. Просто вороны. Вороны те самые, что расклевывали здесь солдат из Бело-стокского выступа. Вороны живут долго. И семи лет не прошло, после той военной траге-дии... Они это были, точно – они... Потом и любимую папину песню запомнил: «Ой, да ты не вейся, черный ворон, да над моею головою...»

Спустя много лет, узнал, что этот костел - один из самых красивых католических храмов в Белоруссии, что это кафедральный собор святого Франциска Ксаверия, широко извест-ный также как Фарный костел, основанный иезуитами во второй половине XVII века. Все это по-том, потом, а пока трехлетний мальчик стоит перед фарным костелом и зачарован-но смотрит на кружащих над ним ворон... Ничего себе, на каких шедеврах оттачивал малец свой архи-

тектурный вкус!

ПЕРЕЕЗД. Мимо дома проходила железная дорога Барановичи-Белосток. Тогда она еще была вся белорусской и шла до самого Белостока. Мягкое сотрясение моей кровати от тяжелых колес, наверняка, осталось в моей кинетической памяти, как и гул проходящего мимо состава – это был очень сложный шум, сплетенный из тяжелого гуда огромных стальных колес, дробного перестука их на стыках, звяканья сцепок, лязга буферов... Ино-гда доносились певучие удары станционного колокола, в который дежурный по станции бил перед отправлением пассажирского поезда. И снова натужное дыхание паровоза, почтительная дрожь земли. Вокзал рядом, в каких-то трехстах метрах. А мы жили за вы-ходными стрелками. На стрелках горели по вечерам фонари с желтыми оконцами или красными глазками. Стрелочники подавали сигналы о переводе остряков – рожками. Паровозы откликались свистками. И только далеко-далеко откуда-то на подходе к Волковы-ску – доносилось басовитое трехгласие какого-нибудь «ФЭДа-Феликса» или «СО-Серго», впряженных в составы очень дальнего следования... А потом бегущие огни вагонных окон в окне комнаты...

Волковысский вокзал, сокрушенный в обоих мировых войнах, и восстанавливаемый в первую очередь. Вокзальный скверик – место для моих выгулов. Место не самое без-опасное. Не досмотрела, молодая нянька – свалился малец с перрона и разбил о рельсу подглазье. Боль. Кровь. Хорошо, поезд не шел... Ядя позвонила с вокзала маме, та не-медленно примчалась и тут же в зале ожидания поставила на ранку металлическую ско-бу. Шрам остался на всю жизнь – как штемпель Белостокской железной дороги. Но самое главное – на подоконнике зала ожидания забыли мою бутылочку с соской. Отныне с сосками было покончено раз и навсегда. Началась новая – отнюдь не младенческая – детская - жизнь.

Вокзал теперь другой. Но старинное депо с поворотным кругом для паровозов еще оста-лось. Остались в памяти и живые, дымящиеся и парящие черные локомотивы с огром-ными красными колесами.

С тех пор повелось: паровоз – это Москва, бабушка, это вагон, это купе, это вторая полка, то чай в стакане с подстаканником. Это узкий вагонный коридор, это двери в купе, и если за ними ехали солдаты, входил туда безбоязненно. Солдат я не дичился. Все они были – свои люди. Все они ехали после службы в Германии или Польше. От них я уходил с непременной губной гармошкой и коробочками конфет.

Один из тех паровозов чудом сохранился. Раньше он стоял на Белорусском вокзале, как памятник. Потом его оттуда забрали и поставили поближе к моему дому – возле стадио-на «Локомотив». Судьба, однако...

Из маминого дневника.

Мирная жизнь налаживалась медленно. Особенно в западных районах Белоруссии. Больше всего я боялась «зеленых братьев». Об их фанатизме, об их жестокости, я знала не понаслышке. Однажды во время перестрелки в сарае, где укрывались «зеле-ные», была ранена беременная литовка. Женщину привезли к нам в больницу, но охрану не поставили. Ночью, она в бинтах, сбежала через окно.

А еще был случай. У Андрея служил шофером солдат Кузнецов, хороший был и води-тель, и парень. Однажды пошел в деревню на гулянку. Там его избили. Ударили какой-то палкой, в ней торчал ржавый гвоздь, в общем, пропороли пол-лица. Солдата из де-ревни привезли в мою больницу. Промыла, зашила... У парня еще оказалось сотрясение мозга. Выходить его не удалось – умер. Морга не было. Кровать с его телом подвезли к двери ординаторской. Я позвонила Андрею, рассказала, что и как. Он, конечно, был в шоке. И Кузнецова жалко, и

и отвечать именно ему, командиру, придется.

Андрей в лагерях. Коле - 2,5 годика. А я снова была на сносях. Стояло лето 1949 года. И тут произошел несчастный случай, который едва не стоил жизни нам обоим, точнее уже троим, еще не родившейся дочурке (я была на седьмом месяце): с потолка большой комнаты вдруг рухнул огромный пласт штукатурки. Сказались сотрясения дома после военных бомбежек. Мы вышли из комнаты за минуту до этого происшествия. Я потом целых два дня выносила из комнаты ведра с кусками штукатурки.

Рожать второго ребенка в таких условиях я не хотела. Одно-то еле выхаживаешь без отрыва от работы. Муж все время в разъездах. Обстановка тревожная. Мама помочь не может, она с внучкой Анечкой в Москве сидит. Сестра Валя родила в ноябре 1948 года дочурку. Ждать хоть какой-нибудь помощи было безнадежно. Куда ни кинь, везде клин. И пошла я на аборт в военный госпиталь; у себя в больнице делать не хотела. Меня принял молодой военный врач и стал горячо отговаривать: «Вы же молодая, вам еще рожать и рожать, а после аборта это может быть весьма проблематично. Да и грех это великий!» Меня поразило, что советский человек, врач, да еще военный, рассуждает, как моя религиозная мама. И не стала делать аборт, и родила в этом же военном госпитале 20 августа 1949 года дочку. Хотелось назвать ее необычным красивым именем. Андрей очень расстроился, что родился не сын, а дочка, и отказался выбирать имя. «Называй сама!» Я и назвала – Лариса, Лора.

Что в переводе с греческого «чайка». Надо было ее крестить. Но на сей раз мама приехать не смогла и я попросила свою санитарку, польку Зофью Сокирко, быть крестной ма-терью, а заодно и подыскать крестного отца. Зофья ходила в православный храм Николая Чудотворца, единственный действующий храм в Волковыске. Жила одиноко, иногда отпрашивалась у меня на службы, я всегда ее отпускала. Вот она договори-лась с батюшкой, отцом Виталием, который крестил и Колю. Крестили опять тай-но, на дому.

И опять та же проблема – во что одевать младенца? Не было вообще никакой обуви, тем более детской. Вместо магазинов и лавок в Волковыске торчали только ступени да крылечки, ведущие в пустоту руин. Сержант-литовец, отпущенный Андреем в отпуск, привез из Литвы мне на радость детский комбинезончик. Я о таком подарке даже мечтать не могла! Все было безумно дорого, и даже офицерского жалованья вкупе с моей врачебной зарплатой на нас четверых не хватало. По старому московскому опыту, я продавала на Волковыском рынке женские чулки, кото-рые муж сестры Василий привозил из Москвы. По рынку ходили агенты НКВД. Один из них засек за «спекуляцией» меня - жену офицера. Но никуда о том не сообщал. Только однажды предупредил меня: завтра его не будет, будет другой. Я ему понравилась, и он не стал губить ни меня, ни папину карьеру.

Когда родилась Лариса, Андрей всем говорил, что у него второй сын. Дядя Федя встретил меня из роддома:

- Пани капитанша, поздравляю вас с новым сыном!

- Но у меня родилась дочь.

- А пан капитан сказал, что сын.

Я потом укоряла Андрея:

- Ну, зачем ты всем говоришь, что у тебя второй сын?!

- А, мы в марте уедем, никто все равно не узнает.

- Чем же девочка хуже мальчика?

- Хочу трех сыновей.

СЕСТРА. Новое живое существо в доме. Очень крикливое, требовательное.... Но свое. Родное. Домашнее. Мамино и папино. А значит и мое. Особа приближенная к маме. И теперь всем надо с ней делиться... Я и поделился: положил на сверток слегка надкусанную лепешку:

«Вот, ешь!» Лепешку тут же убрали, но порыв моей души одобрили. Молодец, с сестричкой надо делиться! Но потом все родительское внимание было обращено исключительно на сестричку. Вне себя от обиды я изрек то, что потом повторялось при каждом удобном случае: «Оставьте эту куклу и займитесь, наконец, ребенком!» То есть мной.

Появление новой живой души тут же сказалось на нашей семейной жизни – папе пришлось продать мотоцикл! Сейчас понимаю – прокормить разросшееся семейство на одно капитанское жалованье было трудно...

Сестра росла быстро, и вскоре стала участницей всех наших уличных игр и забав. Много лет спустя, уже десятые годы нового тысячелетия мы приезжали с ней в Волковыск. Лариса к тому времени - известный литературовед-пушкинист, автор многих книг, тоже привезла свои творения в Волковысский музей. Разумеется, заглянули мы и в свой бывший дом у железнодорожного переезда. Нам разрешили войти в комнаты. Но ничего, абсолютно ничего в этих совершенно обновленных комнатах с пластиковыми оконными рамами не напомнило детство... Но главное, мы передал музею свои книги, которые были с благодарностью приняты. Стоят ли они в экспозиции или определены в запасники, это уже дело десятое. Главное – они там, в городе, откуда все началось.

Из маминого дневника.

Растить двоих малышей без помощи бабушек-дедушек было трудно, тем более, что не было никаких вещей для малолеток – ни сосок, ни распашонок, ни пинеток, не говоря уже о памперсах, о которых мы и вовсе не слышали. К тому же мне приходилось работать, ездить на вызовы. Пришлось нанять домработницу.

Моей первой помощницей была девочка-подросток Таня, было ей лет 14. Она приехала на гродненские земли из голодной разоренной смоленщины. Ловкая, быстрая, хваткая. Когда младенец орал свыше всякой меры, она быстро ставила диагноз: «сглазили мальчика!» И обносила вокруг него уголь, взятый из печи. По вечерам я отпускала ее в школу. Старшая сестра Тани вышла замуж за старшину-сверхсрочника начальника продовольственного склада и вскоре забрала младшенькую к себе - нормально доучиваться. Вместо Тани пришла полька Ядя, Ядвига, служившая у местного пана кухаркой. Она озадачивала меня своими вопросами: - Пани, а курицу мыть туалетным мылом или хозяйственным?

Ядя знала все тонкости польской шляхетской кухни, но никогда не имела дела с маленькими детьми. Под ее рассеянным доглядом двухлетний Коля свалился с платформы волковысского вокзала и расквасил об рельсу левое подглазье так, что зашивать пришлось в военном госпитале. (Кстати именно тогда произошло и непростое отлучение от бутылки с соской, которую забыли в госпитале). Случилось это в конце 1948 года, после чего рассеянная нянька получила отставку. На смену ей пришла баба Таня (Татьяна Силантьевна Кузнецова) - из смоленских переселенок в западно-белорусские земли. Ей было где-то за 60. Честная работящая, но с весьма крутым характером. Мне ее «подарила» - уступила жена начальника городской нефтебазы. Татьяна приехала в Волковыск из разоренного войной Смоленска. Пришла в чем была. Никакой одежды. Я отрезала низ от старой шинели Андрея и сделала из нее суконную юбку. Как она была счастлива такой теплой и удобной обнове!

Потом перед отъездом из Волковыска я свезла Татьяну Силантьевну на родину на смоленщину, но ее родня - семья племянницы - сдала бабуку в дом престарелых. Я потом из Баранович выслала ей посылку, но директор ответил, что гражданка Кузнецова отбыла в неизвестном направлении. Не ужилась в приюте. Где и как кончила она свой век? Бог весть...

Волковыск конца сороковых годов оставался еще типично польским повятовым (уездном) городком. Все крупнейшие войны Европы последних двух веков прокатились через Волковыск,

и дома его, словно трава на людном месте, не поднимались высоко, даже особнячок на бывшей Панской улице, в котором размещался когда-то Штаб Второй армии Багратиона, - с полукруглым портиком о две колонны - и тот не превышал двух этажей. Самыми высокими зданиями в городе были, пожалуй, православная церковь Николая Чудотворца да католический костел Святого Вацлава.

Дом наш, выстроенный еще при Николае Первом, напоминал некое оборонительное сооружение: толстые кирпичные стены, насупленные оконца... Его суровая архитектура говорила об одном: о желании выстоять наперекор всем грядущим войнам. И он выстоял и в первую мировую, и в советско-польскую, и в «Освободительный поход» 1939 года, и в Великую Отечественную... Впрочем, дом был не наш. Вот он едва и не отомстил нам за все свои потрясения...

У Андрея был трофейный мотоцикл, и мы часто ездили по окрестностям Волковыска. Сопровождал нас дворový пес Эрик. Однажды он попал под колесо коляски, и мне пришлось ему оказывать первую ветеринарную помощь. Пес выжил.

За рекой - неподалеку от нашего дома - высилась двугорбая - Шведская гора, насыпанная, как говорили старики, шапками плененных Карлом XII русских солдат. На самом деле, это было древнее городище, самая завязь Волковыска. «Шведская гора» расположена на юго-восточной окраине Волковыска. Существует и другая легенда о том, что «Шведскую гору» во время войны насыпали шведские воины над могилой своего полководца. Она имеет форму усеченного конуса. Это самая высокая точка среди окружающих Волковыск холмов мореной гряды. Её крутые, поросшие травой склоны с чашеобразной формой вершины хорошо видны из любой точки города. Высота «Шведской горы» от подошвы до вершины вала колеблется в пределах от 28 до 32,5 метра. В основании гора имеет круглую форму. Площадка «Шведской горы» почти круглая. Её размеры: с запада на восток — 55 метров. По периметру площадка окружена мощным оборонительным валом, прерывающимся с южной стороны въездом.

Вот на этом въезде наш мотоцикл однажды опрокинулся. Я была беременной, ждала второго ребенка, и это происшествие могло закончиться весьма печально. По счастью, мотоцикл завалился плавно, я только слегка ушиблась да больше напугалась.

За Шведской горой простирались Мышиные горы и Замковый лес. В нем стоял когда-то Волковысский замок, в котором князь Ягайло принял в незапамятные времена княжескую корону.

Но волковысцы жили той историей, которая была для них еще вчерашним днем - город хорошо помнил и «польский час» и трехлетнюю жизнь «под немцем». Местный миф: в волковысском гестапо в специальной комнате держали двух голодных волков для устрашения на допросах. Говорили, что этим волкам отдавали на растерзание жертв. Но вот в окрестном Пороховом лесу, и это, увы, не легенда, гитлеровцы расстреливали заложников, всех, кто подозревался в связях с партизанами. Там и сейчас еще сохранилась обваловка расстрельного места.

ПАПА. Отец бывал в доме нечасто: служба, дежурства, летние лагеря, разъезды по точкам... Но когда приезжал к нам, в доме сразу становилось шумно и весело.

У папы был служебный «виллис». Еще колесили по белорусским дорогам американские «студебеккеры» - огромные щучьемордые грузовики и юркие «виллисы» защитного цвета. Из наших - полторки, ЗиС-5, «победы», «москвичи».

Папа любил коней и держал у себя в части трех лошадей Корень, Валет, Луна. Однажды зимой, когда в гости приехала мамина сестра тетя Валя с мужем, папа устроил выезд на санях, запряженных тройкой в зимний лес. Тетя Валя дала Валету копченую колбасу. Тот пожевал ее и выплюнул в снег. Тетя Валя подобрала и к всеобщему ужасу - съела. Ей дали водки - для

дезинфекции.

У папы были золотые руки. С заводских времен сохранилась у него любовь к рукодельному мастерству.

В дяде Фединой мастерской папа сработал и этажерку, которая ездилась с нами повсюду, пока не сгорела в абрамцевском пожаре 1994 года.

В семейном архиве сохранилось папино письмо, которое он отправил из Скобелевских лагерей (из центра боевой подготовки в Лесной) маме. «Долго не писал, потому что не хотел тебя расстраивать, но сейчас, когда все решилось наилучшим образом, могу все рассказать. Вдруг обнаружил, что потерял обручальное кольцо (кольцо было старинным, массивным, его подарила на свадьбу бабушка, и хотя начальство косо смотрело на офицеров, которые носили кольца, папа носил – прим. Н.Ч.). Хватился, где мог потерять? Ну, конечно, на речке (река Кочерыжка – Н.Ч.), когда стирал белье. Осмотрел место, ничего нет. Стал спрашивать солдат, не видал ли кто мое кольцо. А дальше сработал «испорченный телефон», пошел слух, что командир потерял на реке – «кальсоны». Ищите в кустах, наверняка, где-нибудь зацепились. Но ни кальсон, ни кольца никто не нашел. Стал проводить свое следствие: до меня там стирал белье лейтенант Л. из моей роты. Спросил его – нет, ничего не находил. Тогда я собрал всю роту и сказал: «Я потерял на реке свое кольцо. Тому кто найдет, обещаю краткосрочный отпуск и премию в триста рублей». Проходит какое-то время, ко мне подходит лейтенант Л. и спрашивает: «насчет денег в триста рублей – правда?» «Правда». Он достает кольцо – вот оно. Денег я ему не дал, поскольку он сначала обманул меня, но пригласил его в ресторан и там мы отметили находку, как надо. Все остались очень довольны». Такое вот эпизод из лагерного воинского быта...

Перед глазами и сейчас стоит сосновый лес, насквозь просвеченный солнцем, мокрый от ночного дождя песок... Мы с отцом, перетянутым новенькой кожаной португеей, идем мимо белых палаток, выстроенных в линию. Дневальные под грибками отдаю честь майору Черкашину. Я тихо горжусь: это мой папа и мы идем в офицерскую столовую пить чай...

Потом папа передал меня на попечение старшине Яше Гарину и тот повел меня в расположение его роты. Под соснами ровными рядами стояли палатки. Мы заходили в них. В палатках было довольно просторно, хотя постели, одинаково заправленные одинаковыми одеялами, жались одна к одной — на десять человек, на отделение. Койка сержанта была застлана отдельно. По брезентовым скатам плясали тени ветвей, просвечивали солнечные блики. Пахло сапожной ваксой, дешевым одеколоном, ружейным маслом и чем-то еще неразличимым. Солдаты радовались, завидев мальчика, и старались чем-то обрадовать меня: дарили кто карандаш, кто круглое зеркальце — пускать зайчики, кто — гильзу от патрона, а кто и леденец. Потом мы пошли фотографироваться. Солдаты прилегли под сосной и я между ними.

Прошли годы, и после третьего курса, нас, воспитанников военной кафедры МГУ, отправили на двухмесячные сборы в Ворошиловские лагеря, что на Верхней Волге. И там тоже был точно такой же палаточный городок, и я уже заходил в палатку не как гость, а как полноправный ее обитатель, и у меня была узенькая коечка у самой стенки. Мешкообразные матрасы мы сами набивали соломой. Спать на них было куда как неудобно – все время скатывались с округлого «ложа». А в остальном все было так, даже те же самые запахи, что и двадцать лет назад. А потом пришел мальчуган, сын кого-то из батальонных офицеров, и ротный фотограф повторил почти такой же снимок: под соснами прилегли солдаты, а между ними пацаненок... История любит повторяться!

Полигоны и лагеря в Лесном были созданы еще и при генерале Скобелеве. Здесь обучались войска и перед первой мировой, и перед Великой Отечественной. В сорок первом здесь пребывали красноармейцы 4-й армии, которой командовал генерал Коробков. И все было точно так же, как и сейчас. Разве что бойцы были не в погонах, а с петлицами на отложных ворот-

никах. Но сигнальные трубы играли одни и те же команды. И так же мерно шорхал песок под сапогами проходящего строя, и так же шумно и радостно вбегали они в речную воду, оставив на берегу ровно сложенные гимнастерки, пилотки и сапоги... А в палатках стоял все тот же запах ружейного масла, крепкой махорки, сапожной ваксы, сена и дешевого солдатского одеколona...

И вот что еще важно: в Скобелевских лагерях я впервые услышал переливы гармонии. Играл какой-то солдат, но столько души вкладывал он в свою незатейливую музыку, так вплетались его переборы в этот сосновый лес, в эти ряды белых палаток, что ничего ни говорить, ни домысливать не надо было – вся русская душа была на ладони. И сколько таких гармоний играли здесь за столетие армейской жизни. Жизнь скобелевских лагерях закончилась в 90-е годы. Войска вывели и отправили в Россию. Полигон зажил отдельно... А лагерный городок мгновенно снесли и разграбили. Как-то проезжая из Слонима в Барановичи по шоссе я увидел знакомый памятник: на обочине стоял на постаменте серебряный солдат и трубил в серебряную трубу. Я попросил остановиться и пошел по лесной дороге за сломанный шлагбаум. Никакого КПП уже давно не было, дорожки и линейки заросли, деревянные домики были сломаны, палаточные гнезда разворошены... На одной из сосен висел венок, сплетенный из сосновых лап и шишек. Будто в память о тех славных временах, когда здесь, в Скобелевских лагерях, кипела воинская жизнь...

А полк отца в Волковыске, как я теперь понимаю, размещался в бараках бывшего лагеря военнопленных на окраине города. Бараки были переделаны в казармы с печами, с двухъярусными койками, питьевыми бачками, ружейными комнатами, спорт-уголками, умывальниками, сушилками, всем, что полагается иметь в казарме.

Папа, иркутский голубятник, мастерски умел ловить птиц, но никогда не держал их в неволе – всегда выпускал. Здесь, в Волковыске, чтобы удивить и порадовать своего первенца, он тоже ловил скворцов и щеглов. Одного даже держали какое-то время в клетке, наверное, для моего постижения азов орнитологии. Общение с птицей открывало другой животный мир – сосуществование с крылатыми всегда недоступными существами.

Однажды папа принес убитого на охоте зайца. Ему подарили его охотники. Мы жалели с сестрой убитого зайца почти до слез.

Папа не любил охоту и ружье-трехстволку, вывезенное из Германии, вскоре продал. Настрелялся за войну...

Папа веселил нас прибауточным стихотворением про сказочного деда со сказочной бородой. Запомнилась только одна строфа:

Если эту бороду расстелить по городу,
То проехала б по ней сразу тысяча коней...

Я потом долго искал эту замечательную веселую сказку, и нашел на пластинке в исполнении Леонида Утесова:

*Эй, стой! По дороге
едут тёсанные дроги.
А на дорогах сидит дед
двести восемьдесят лет
и везёт на ручиках
маленького внучика.
Тому внучику идёт
только сто девятый год
и у подбородка
борода коротка.*

*В эту бороду его
не упрячешь ничего,
кроме: полки с книжками,
мышеловки с мышками,
столика со стуликами
и буфета с бубликами.
Вот и всё!
А у деда борода
вот отсюда да туда,
а оттуда пересЮда
и обратно вот сюда.
И если эту бороду,
да расстелить по городу,
то проехали б по ней,
придержав своих коней
два буденовских полка,
тридцать три броневика,
пулемётные две роты
и дивизия пехоты
и танкистов целый полк.
Вот какой бы вышел толк,
если эту бороду
да расстелить по городу.*

Конечно же, в моем детском представлении эту невероятную бороду расстилали по Волковыску, по его главной улице. Я четко видел, как гарцевали по ней кони и катили танки. Это было так зримо, так понятно... В общем, для меня эти стихи навсегда остались стихами про Волковыск!

Первое знакомство с авто. Первый автомобиль в моей жизни был, как ни странно, «ино-маркой», да еще американской, как ни забавно это звучит применительно к послевоенному Волковыску. Просто папа, заехал в роддом, чтобы забрать жену и ребенка на служебном «виллисе». И поскольку уже была зима, выпал снег, водителю «виллиса» было приказано открыть все дверцы, окна, все, что открывается и поднимается, чтобы младенец не задохнулся от паров бензина. Таким образом, самый первый, внебольничный запах, был для меня запах бензина. Я и сейчас его люблю. А тогда, в Волковыске, я выпрашивал у мамы тряпочку с бензиновой каплей, ходил и нюхал ее, и никому в голову не приходило назвать меня «токсикоманом». Тогда и слова-то такого не знали.

«Виллис» «виллисом», но самыми красивыми машинами были пожарные. Ярко-красные с блестящими лестницами, катушками для шлангов, огромными фарами, с сидящими по бортам пожарными в сверкающих касках они мчались под вопли своих сирен через весь город, и все уступали им дорогу. Та пожарная часть и сейчас сохранилась – рядом с городской баней и кладбищем. Но машины совсем другие, и почему-то уже не вызывают такого радостного, такого ликующего восторга...

Разархивировать память трехлетнего ребенка очень трудно... И все-таки это возможно. Сколько же там всего спрессовано! Главное, не торопясь, разъединять пинцетом листики... Не сломать, не повредить, не смазать... Ладно там хронология. И приблизительная сойдет. Главное – мозаика фактов, калейдоскоп образов, открытий...

Оказывается, в этом мире есть еще и девочки. И они совершенно другие! Совершенно! И это именно о них поет веселый задорный голос с патефонной пластинки – «Красотки, красотки, красотки кабаре, вы созданы лишь для наслаждения!» Что обозначает красивое слово «кабаре» я не знал и знать в Волковыске не мог. Кто такие «красотки» - догадывался, это такие нарядные девочки. А почему они созданы для наслаждения и как ими наслаждаться, я узнал, спустя много лет...

Приятно отметить, что ориентация в Волковыске заложилась у меня правильная. Мальчики – это друзья, а девочки... Я еще не знал, зачем они нужны, эти девочки, но поглядывал на них с интересом, и одна из них рыжеволосая (назовем ее Ирой), жившая в соседнем доме, почти рядом со шлагбаумом через переезд, привлекала особенно. Ну, да играли все вместе, всей гурьбой, играли в фанты, и мне выпало – поцеловать Иру. Делать на глазах у всех, я отказался, и без того было предельно стыдно... Мы удалились в придорожные кусты и там я быстро-быстро поцеловал ее, то есть просто коснулся губами, и все. Красный от стыда вернулся в нашу детскую стаю. Игра продолжилась...

Но вот, что удивительно, этот мимолетный эпизод остался в памяти на всю жизнь. (Волковыск – город первого поцелуя)... Спустя много-много лет, уже в десятые годы нового века, я, в свой очередной приезд в Волковыск, вспомнил о рыжекудрой соседке и поинтересовался у соседей, что с ней, как она, где она. И они рассказали, что Ира закончила юрфак БГУ, удачно вышла замуж, и в последние годы работала помощницей президента. Сейчас живет в Минске. Мне даже телефон ее дали. Но звонить я не стал... Да и кто бы мог понять такой звонок? «Здравствуйте, Ирина Батьковна, это мальчик Коля из Волковыска, помните такого? Замостьянская десять, я жил рядом с вами в конце сороковых годов прошлого века. Помните? А помните тот фант, насчет поцелуя?»

Я разыграл этот диалог - в воображении, но смею думать, что и моя прекрасная соседка не забыла ту игру... У женщин на такие дела память совершенно особенная...

Еще одно очень важное открытие в жизни начинающего человека – друзья. Они появляются едва ли не с первых же твоих лет. В Волковыске, на Замостянской, все друзья-товарищи были из местных ребят, из соседних домов – постарше, помладше, кто-то уже ходил в детский сад, кто-то нет. Возможно, были среди них даже первоклассники. Сколько помню, я в нашей ватаге был самым младшим, но это никак не мешало нашему общению, кто-то из вожаков постановил – брать его с собой, играть... И они брали с собой. Приходили в наш дворик:

«А Коля гулять выйдет?» Эту проблему всегда решала нянька, поскольку мама была на работе. И нянька с удовольствием отпускала меня в компанию – ушел с пацанами, забот по догляду меньше. Да и запрета на «гулянье» с ребятами не было. И я радостно уходил «гулять». И мы гуляли порой довольно далеко от дома, уходя на пару километров за железную дорогу. Вообще-то играть рядом с железной дорогой дело небезопасное. Но поезда ходили редко, а волковысские дети были весьма благоразумны. Чаще всего уходили либо на польское кладбище за костелом, либо еще дальше – на Шведскую гору. К земляному двугорбию относились с благоговением, рассказывали друг другу легенды о том, что эти холмы набросали шапками пленные шведы, что со Шведской горы подземный ход ведет в Замковый лес, где от панского замка остался только фундамент. Из-под него бьет ручеек и банка стоит, чтобы пить родниковую воду.

Ну, и конечно, играли на горе только в войну. А во что еще могли играть волковыские дети в городе, лежавшем на перекрестке всех европейских войн? Мы смутно догадывались, что и до нас здесь тоже «играли» в войну взрослые и играли всерьез. Много лет, спустя, занимаясь историей «Белостокского выступа», кровавым исходом наших войск из уготованного им под Волковыском котла, я узнал, что ушедший из Гродно штаб 3-й армии, занимал круговую оборону именно на Шведской горе, столь удобной для отражения атак. Много позже услышал я песню Владимира Высоцкого о своем детстве, столь похожем на мое:

*И пытались постичь мы, не знавшие войн,
За воинственный крик принимавшие вой,
Тайну слова, приказ, назначенье границ,
Смысл атаки и лязг боевых колесниц.
А в кипящих котлах прежних войн и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов,
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.*

Пищи для наших маленьких мозгов в Волковыске было предостаточно...

В промежутках между «войной» собирали землянику, которая обсыпала травянистые склоны красной россыпью, любовались с высоты горы раскинувшимся городом, голубым небом, полетом птиц или виражами боевых самолетов, взлетающих с аэродрома в Росси.

Мир. Надежный прочный мир, обнимал всю округу. И хотя где-то далеко уже готовились и даже испытывали первые атомные бомбы, мы о том ничего не знали и от души радовались нашей детской свободе.

«Грустные ивы склонились к пруду, месяц плывет над водой. Там на границе стоял на посту, ночью боец молодой... ..» Грустную эту песню пела мне мама, возможно, заменяя ею колыбельную... Пруд. Мамина песня: «Грустные ивы склонились к пруду, Вот и пришлось на рассвете ему голову честно сложить». При последних словах наворачивались слезы. А детское воображение рисовало жуткую картину: молодой боец снимает с себя голову и честно ее куда-то укладывает...

Слова эти запомнились на всю жизнь, они тоже оттуда, из Волковыска.

Спустя полвека узнал столько всего нового о военном прошлом своего города. Был Волковыск воротами в ад, и вратами выхода из ада – из «Белостокского выступа» в конце июня 1941 года. Написал об этом военно-исторический роман. Кажется, знаю о тех днях все, но ощущение тайны, никем не развешанной – осталось...

СЧИТАЛКИ. Кроме войны играли, конечно, во все всем известные игры. «Пряталки» или «прятки» с неизменными считалками: «На златом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, а ты кто такой?» Вот это была демократия – королевич и сапожник на одном крыльце сидели вместе! Или эту – «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана...» Ну, тут сплошная уголовщина... «Эники, беники, ели вареники...» - это классика. До сих пор держу в памяти все эти считалки. А тут услышал, новые – современные, Двадцать первого века – «Ты андроид, я айфон, выходи из круга вон!»

ВРАЧИ. Самым первым врачом в моей жизни была, разумеется, мама. Она лечила нас всех, меня, сестру, отца, лечила от всяких простуд, ушибов, порезов, ожогов быстро, решительно, умело, эффективно...

Коробка с круглыми стеклянными банками, похожими на полые плоды. Когда болел, мне их ставили: запах горящего спирта, пламя, горячие шлепки банок, больно всасывающих кожу... Было жутковато, но интересно.

Мама работала в детском доме. Уже тогда было ясно, как это страшно – детский дом, чужой дом, общий дом, без пап и мам, бабушек и дедушек... Она работала там врачом. Я туда к ней не ходил. Меня прельщала в ее работе возможность проехать в кабине детдомовского грузовика ЗИС-5. Грузовик тоже пережил недавнюю войну, был сильно помят, потерт, изношен, но все равно катил на своих четырех... Как же великолепно благоухала кабина – бензином, маслом, краской, старым дерматином, резиной... И вот вам Шведская гора из-за окна кабины. Едем! Мимо! В город!

Что же еще? Бабушка из Москвы... Евдокия Петровна или по-домашнему – Бабдуня. Добиралась она из Москвы до Волковыска почти сутки, ночевала в вагоне, приезжала усталая, но радостная от встречи с дочерью и внуками. И, конечно же, привозила заветную сумку с подарками!

Дедушка Миша, тот не приезжал – работал. А бабушка Дуня приезжала к нам и в Волковыск, и в Слоним, и в Сморгонь, и в Барановичи... Она же стала и организатором нашего с сестрой тайного крещения. Крестил нас местный батюшка у себя на дому.

С легкой бабушкиной руки я узнал, что такое храм. Именно она сводила меня в Никольскую церковь, что на улице Ленина, бывшей – Широкая.

Иконостас... Свечи, золото, огоньки, строгие лики, разноцветные лампы... «Храм – это дом Бога» - поясняла мне бабушка. Она же продолжила мое воцерковление у себя дома – в Марьиной Роще, которую украшал и украшает храм иконы «Божия Матерь Нечаянная радость». Эта удивительная икона дает каждому человеку надежду на раскаяние и прощение. Бабушка жила почти рядом с храмом в 12-м проезде Марьиной Роши. Тогда еще в Москве не запретили колокольный звон, и я радовался ему, как радуются радуге. Певучие и разнотональные колокольные звуки, казалось мне, обретали цвета... Так было и в Волковыске.

БОГ. Именно бабушка Дуня открыла мне тайну этого величественного слова. Бог – надмирное существо, создатель всего, что видно и невидно глазом. Бог – всеведущ. Он знает все. И я понимал, что Бог знает про меня все. Даже то, чего не знает мама: про то, как я разбил блюдце, выбросил осколки в помойное ведро и забросал их смятыми бумажками, или про то, что припрятал под ступеньками крыльца боевой патрон, найденный на Шведской горе, припрятал, несмотря на категорический запрет папы и мамы, подбирать и тем более приносить в дом подобные «железки». И еще сказала бабушка, Бог очень добрый, он никогда никого не наказывает, но наказывает людей «лукавый», который вредит людям, отошедшим от Бога. Это как если бы ты вышел из-под зонтика в дождь, и промок до нитки, потому, что сам лишился защиты. Всегда в непогоду держи над головой зонтик, то есть не забывай про Бога...

Замечательно, и у меня, и у сестры, все наши крестные матери – волковысские белоруски-польки...

КИНО. Самое яркое из всех зрелищ детства. Садись в общем ряду и замираешь в ожидании чуда. Чудо наступает постепенно – с гаснущим в зале светом. И вот тебе во весь экран живая Золушка со всеми своими вредными сестрами. Знать бы тогда, что Золушка (в исполнении актрисы Янины Жеймо) родилась в Волковыске. Землячка, однако...

Еще был Тарзан, но он не произвел такого впечатления. Может быть потому, что мы никогда не видели живых обезьян.

Кадр из какого-то фильма (не могу вспомнить название!). Военный самолет. В ноги пилота чудом влез, спрятался человек. Его спасают. Кадр так зримо передавал ощущение жуткой тесноты, что почти вызывал приступ клаустрофобии... Впрочем, в жизни никогда не страдал страхом тесного пространства. Хотя несколько раз случалось попадать в жутковатую безысходную теснину.

Мама говорила, что самый первый в моей жизни была комедия «Весна» (родители водили в

в городской кинотеатр). Но мне он не понравился. Там не было ни одного выстрела, ни одного солдата... В 80-е годы волковысский кинопрокат привез в город кинокартину, снятую на Мосфильме по моему сценарию – «Крик дельфина». Вот тут были и взрывы, и подводные лодки, и война, правда, война Холодная...

ЕДА. Самое любимое и самое восхитительное блюдо – гусь с яблоками, я отведал, конечно же, в Волковыске. Возможно, это было на второй или третий год моей жизни, но уж на один из рождественских (тогда, разумеется, новогодних) праздников, будьте уверены, мама его, гуся, конечно же приготовила, тем более, рынок (базар) был в пятишаговой доступности – рядом с каменной оградой костела Святого Вацлава, а уж про яблоки-антоновку и говорить нечего. Из маминых кулинарных шедевров, попробованных в Волковыске: песочный торт с черникой, картошечка с лисичками....

А «хрустики» - печенье-хворост?! А папина белорусская готовка, его потрясающие «драники» (ладки), бабка со шкварками, галушки в молоке и даже «колдуны»...

МОРОЖНОЕ. Одна из главных радостей детской жизни в Волковыске было мороженое. И хотя мама бдительно следила, чтобы я не простудил горло, я, если дорывался до мороженого, ни о каком горле не думал. Ведь это же – мороженое! Думать хотелось только о нем или о снеге со льдом, если мороженое привозили летом.

Сорт был один – сливочное мороженое. А вкус был такой, что с ним не сравнится ни одно современное московское лакомство – ни крем-брюле, ни эскимо, ни пломбир. Потому что в Волковысском мороженом было все настоящим и свежим – и сливки, и яйца, и никаких стабилизаторов, ароматизаторов, усилителей вкуса... И по сей день, закрою глаза и вижу – деревянный ящик на тележных колесах, в ящике посреди кусков битого льда, присыпанного опилками, жестяной бидон до краев наполненный МОРОЖЕНЫМ! Слегка желтоватое, с ледяными крупинками, густое, холодное, сладкое... Тебе выдают его специальными щипцами, которые штампуют колесико, обложенное с обеих сторон вафельными кружками, чтобы удобнее было держать в пальцах... Такое же мороженое было и в Слониме, и в Щучине, и в Сморгони... А потом пошли обертки, палочки, фольга, целлофан и вкус мороженого изменился...

ЗАПАХИ. Наверное, самый первый в жизни запах – это дух дров, горящих в печке. Запах бензина папиного «виллиса» и мотоцикла, запах керосина из лампы. Запах стройки – свежих досок и вонь карбида из лужи. Запах оббитого кремня – огнем пахнет. Запретный запах спичечной серы. Запах папиросного табака. Запах гуталина. Запах новеньких карандашей, свежих журналов.

Запахи черного хлеба – из приоткрытой двери булочной, малосольных огурцов, парного молока, аромат мандаринов из посылочного ящика. А еще цветочные запахи: жасмина, ландышей, растертой в пальцах полыни, дурман мокрой сирени...

Но витали у нас дома еще и запахи лекарств из маминой домашней аптечки. Но у мамы еще были духи – в красивых флакончиках. Духи стояли на подзеркальнике, и нюхать их было очень увлекательно: какие приятные и разнообразные оттенки запахов!

У Эрика был свой собачий запах, которые взрослые называли пренебрежительно – псиной пахнет. А мне нравилось.

У дяди Феди в мастерской плавали свои запахи: ну, конечно, в полном изобилии аромат свежих сосновых стружек. Пахло очень резко из темных бутылок, где хранились скипидар и политура. Знал запах вареного льняного масла – олифы. Машинным маслом дядя Федя смазывал винты верстака, всевозможные тиски, зажимы...

Мир природных запахов постигался сам собой, без особых пояснений. Вот зацвела липа,

что может быть благоуханней?

Здесь, в Волковыске, в маленьком саду дяди Феди, я впервые вдохнул ароматы сирени и жасмина, которые цвели здесь во всех садах и палисадниках. Любимые цветочные запахи и поныне.

А вкусовые ощущения: черный хлеб с сахаром, кагор и кусочек просфоры в церкви, немислимая сладость арбуза... А звуки (теперь уже реликтовые):

Цокот конских копыт по булыжнику.

Заливистый крик паровоза.

Перезвон церковных колоколов.

Переливы духового оркестра в парке...

И вот, что странно: все, что сейчас в музеях и на постаментах совсем недавно входило в обиход нашей жизни:

- угольные утюги, которые надо было раскачивать, чтобы в них засветились угли.

- керосинки, керогазы и керосиновые лампы.

- самовары

- паровозы, семафоры, водокачки, стрелочные фонари, поворотные круги в депо...

- Стиральные доски и вальки

- помню полуторки и ЗИС-5 («Захар Иванович»)

- безмены и весы с гирями

- патефоны и радиолы

- пароходы и газогенераторные автомобили

- флаконы с пульверизаторами и правочные ремни для опасных бритв

- ручные машинки для набивки папирос

И все это не на музейных полках, а в жизни, в быту. И все это из начала 20 века, а то и из 19-го...

ТЮРЬМА. В Волковыске в мой детский лексикон вошло совершенно недетское слово – «тюрьма» или «турма», как произносили его местные мальчишки. Точнее исправительная колония строго режима №11. А тогда она называлась для нас загадочным словом «тюрьма». Где она находится, мы толком не знали. Страшное слово произносили вполголоса. Знали, что в тюрьме держат воров, убийц и прочих преступников. Да так оно и было. В Волковысскую колонию до сих пор отправляют тех, кто совершил серьезные преступления и кому дали серьезный срок – свыше десяти лет, на «полную катушку». История колонии весьма своеобразна, и она стоит того, чтобы рассказать о ней хотя бы вкратце. Первые бараки будущей колонии возникли в 1941 году. Это были дореволюционные полковые конюшни, в которых немцы разместили пленных красноармейцев. Их было довольно много. Но высокая смертность, освобождала места в бараках. И вскоре их заняли уже не солдаты, а волковысские евреи, которых собирали здесь для отправки в Освенцим и прочие лагеря смерти. Когда же Волковыск освободили, то в этих самых бараках, за той же самой «колючкой» содержали пленных немецких солдат. Бараки, постепенно, заполнялись и советскими гражданами, точнее «антисоветскими» - бывшими полицаями, сельскими старостами, чиновниками оккупационных учреждений, работавших на врага. Охранников не хватало, и тогда пленным немцам поручили охранять своих бывших помощников. Вооружили их палками и дубинками, и бывшие солдаты вермахта охотно взялись за дело. Снова послышались привычные для здешних стен команды: «Хальт!», «Цурюк!», «Ферботен!». Немцев в 1948 году отправили в Германию (в Волковыске осталось кладбище немецких пленных умерших в лагере -неподалеку от места захоронения советских военнопленных). А на смену импровизированной охране пришли бойцы конвойных войск НКВД.

Сегодня 11-я колония – одно из передовых учреждений подобного рода в системе МВД Белоруссии. Там не просто сидят, но работают: делают мебель, бильярдные столы, выпускают электротехническую арматуру и... выпекают булочки, батоны, плюшки. Вообще-то, хлеб – дело святое, в монастырях его всегда выпекали с молитовкой. Колония далеко не монастырь, хотя и там сегодня есть храм. Не знаю, по вкусу ли волковысцам булочки, испеченные руками убийцы или вора. Не фарисействую, но вопрошаю...

ЛЕС. Еще одно сильнейшее впечатление детства – лес. Точнее леса, в которые вывозил нас папа. Да, в Волковыске не было ни филармонии, ни оперного театра, ни концертных залов... Все это заменяли нам леса – сосновые, елово-березовые, осинники, дубравы... Как пели они при малейшем движении ветра. Всего один порыв, а сколько шелеста, скрипа, плеска... Ни одна симфония не сравнится с их многоголосьем.

Как торжественно реяли в голубом небе макушки елей и кроны сосен! Каким мягкими коврами были устланы эти залы под открытым небом, как далеко и просторно уходили колоннады красноелесья. Только недавно узнал, что у белорусов был свой лесной бог-покровитель: Святобор. Как точно его называли! И для меня свят каждый бор...

Чаще всего мы собирали грибы, и это тоже было необыкновенной новизной: тут тебе и белые, у которых белые только ножки, и маслята, и подберезовики, и лисички, и разноцветные грибы с подстрекательским названием «сыроежки». Однажды втихаря откусил и тут же выплюнул... Горько! Зачем их так обманно называли?

Из маминого дневника:

Волковыск – крупный железнодорожный узел. Мимо нашего дома проходила ветка на Белосток, другая шла на север - в Гродно. Так что оба моих ребенка росли под перестук вагонных колес, под гудки паровозов и лязг буферов... Мы всегда очень любили путешествовать. Летом 1948 года Андрею удалось выхлопотать путевку в Хосту. Колю привезли в Москву к маме, а сами отправились на юга. И я, и Андрей, мы никогда не были на курортах, никогда не видели моря. Надо ли говорить, с каким восторгом мы бросились в прозрачные волны Черного моря? Были забыты все ужасы войны. Мы впервые почувствовали себя молодыми и очень счастливыми. Ведь нам было всего по 28 лет. С нами ездила и моя младшая сестра Валя, которая была уже «немножко беременной». Хоста, ее горные озера, ее горные пейзажи, побережье – показались нам сказочными, почти райскими местами. Много лет спустя мы не раз приезжали в эти края, и всегда восхищались красотами кавказской природы. Андрея вскоре перевели в другой гарнизон - в Слоним - и в марте 1950 года мы, загрузив нехитрый скарб в кузов армейского грузовика, уехали из Волковыска навсегда...

ВЫЖИВШИЙ МАЛЬЧИК. Не выживших мальчиков – подорвавшихся на гранатах, снарядах и прочих взрывоопасных предметах, начинявших в изобилии после войны белорусскую землю, мальчиков сверхлюбопытных и лазучих, утонувших в речках, озерах, попавших под машины, одним словом не выживших - хоронили на городском волковысском кладбище.

Это было очень печальное место, и мы никогда не ходили туда играть. О местном кладбище осталось одно бессерտное впечатление. У входа или на аллее, а может быть и перед самим кладбищем стоял белокаменный бюст мальчика. Скорее всего это был маленький Ленин, «с кудрявой головой.» А я решил, что это умерший мальчик, потому и такой белый, бледный, мертвенный. О, боже, как он меня поразил и убил! Вот как странно началось для меня знакомство с Володей Ульяновым, Владимиром Лениным, вождем нашим и всего прогрессивного человечества...

Говорят, мужчина – это выживший мальчик. Окидываешь взором детство, отрочество, юность – выжил! Я выжил. Слава Богу за все!

ФИКУС. У бабушки Дуни в Марьиной Роще рос в комнате многолетний фикус. Фикус мне очень нравился — он быстро рос, и хорошо было видно, как из его скрученной макушки выглядывают новая пара листков, которая очень скоро превращается в плотные глянцевые большие листья. Мне казалось, что когда фикус дорастет до потолка, то потолок придется прорубать (как в сказке про горох) и я очень ждал этого дня. Но день этот так и не наступил. Бабушка подарила нам семенной плодик, и у нас в Волковыске тоже вырос фикус. В Волковыске мы прожили почти пять лет, а потом папу перевели служить в Слоним. К дому подъехал грузовик, и мы перенесли в него наш нехитрый домашний скарб, и дядя Федя помогал переносить. На прощанье он обнял нас всех, а меня гладил по голове и что-то приговаривал. Мне не терпелось забраться в кузов, я еще не знал, что на свете бывают расставания и разлуки. Очень хотелось побыстрее оказаться в новом городе с таким замечательным названием — Слоним. Наконец мы забрались в кузов, крытый брезентом. Горшок с фикусом мама держала на коленях, чтобы не сломать диковинное растение. Так и поехали... Кто же знал, что ровно десять лет назад, по этой же самой дороге в том же направлении тоже ехала машина — только легковая — а на заднем сиденье две женщины придерживали вазон с фикусом. Это были домочадцы какого-то большого областного начальника. Началась война и они срочно покидали пограничный Белосток, впопыхах схватили то, что было под рукой, но не забыли про фикус. Это было единственное шоссе, которое вело на восток в спасительный город Слоним, и шофер гнал машину под огнем немецких самолетов. Собственно никакой особой гонки и не получалось, потому шоссе было забито колоннами отступающих войск, танков, повозок, телег с беженцами... Самый большой затор случился в Зельве у разбитого моста через речку Зельявнку. К машине подошел комендант переправы, посмотрел на фикус и укоризненно сказал: «Лучше бы вы к себе еще кого-нибудь посадили, чем этот фикус везти!» Женщины стали оправдываться, что за фикусом некому приглядеть и без полива он завянет... Они были уверены, что вся эта провокация быстро закончится, и они скоро вернутся обратно вместе с любимым фикусом. Но тут над дорогой пролетел на бреющем полете «мессершмитт», ударил по машине из пулеметов и обе женщины были мгновенно убиты. Комендант приказал похоронить их при дороге, а на свежий холмик водрузили вазон со злополучным фикусом.

А мы ехали со своим фикусом, быть может, мимо их неприметной могилы, и ничего не знали о том, что творилось на этой самой страшной тогда на планете дороге. И только более полувека спустя, я прочитал воспоминания людей, пытавшихся вырваться из этого ада, пытавшихся прорваться в спасительный, как им казалось, Слоним... Прочитал и про эпизод с фикусом и вспомнил, как уезжали мы с мамой и сестрой... Как везли свой фикус — след в след той расстрелянной легковушке с вечнозеленым растением в вазоне. А вокруг простирались поля праха. Дорога, как натянутое полотенце. И аисты — планеристы... Впереди нас ждала новая жизнь — загадочная и заманчивая, как непрочитанная книга.

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

Волковысского писателя и краеведа Николая Быховцева

Замечания

Стр. 2. «Заклады блыжни» - заклады ближни, что значит «местные предприятия». Скорее всего, чугунные дверки для печей до 1939 года производились на местном чугунно-литейном заводе еврейского предпринимателя Бароша. Оно находилось возле переезда, где вы жили, на другой стороне железной дороги.

Стр.6. Панскою улица никогда не называлась, только Замостянской, что значит «за мостом». В 1914 году было 14 дворов, из которых 4 еврейских и 4 домами владели поляки по фамилии Тимошко. ВладельВ 1919-1939 году она осталась такой же. За переездом начиналась другая улица – Новошосовая. Улица Шосовая (находится при въезде в Волковыск с южной стороны) – сейчас 129-й Орловской дивизии, войска которой в 14 июля 1944 года освобождали Волковыск от немцев.

Емельяну Яновцу в 1914 году принадлежало 2 дома на соседней Брестской улице. К тому же он не был жандармом, так как в Волковыске до 1915 года штатных должностей жандармов не было. Были только полицейские.

Такого понятия «до революции» в хронологии Западной Беларуси не существовало, так как в 1917 году её территория находилась под первой немецкой оккупацией, а 12 февраля 1919 года Волковыск заняли польские войска. Единственное время, когда Лоскот мог поселиться в доме – это период 24 июля 1920 года по 25 сентября 1920 года, когда на 3 месяца Волковыск заняли войска Красной армии, наступающие на Варшаву. Однако после этого Лоскота выселили бы его законные владельцы – частная собственность соблюдалась при Польше очень строго. Скорее всего, Лоскот получил часть этого дома в 1945 году, когда в Польшу репатриировали большое количество польских жителей, из которых были и Тимошки, жившие на Замостянской. Вот тогда после репатриации освободившиеся дома переходили в городской фонд. Тогда к месту выражение «После 1945 года дом отошёл городу».

Если Лоскоты всё же жили в этом доме до войны 1941 года, то возможно, они вселились в него после прихода советской власти в 1939 году, когда лишние дома и жилплощадь конфисковали.

Стр. 9. Евреи – очень загадочные и непонятные люди. Они тоже отдельно молились и хоронились. Они даже лечились отдельно – в центре стоял «жидовский шпиталь» - еврейская больница, преобразованная в роддом. Еврейская больница была до 1941 года.

Немецкие самолеты почти дотла сожгли город в первые дни войны.

Разрушен и сожжён был центр города. Улицы на окраинах и улицы вокруг железнодорожной станции Волковыск Центральная остались целыми.

Стр. 11. Но после войны, после правильных антирыночных установок, подобие крестьянского привоза располагалось под стенами костела.

Новый рынок был построен ещё при Польше. Однако это место не возле костёла, а в 200 метрах к югу от площади Ленина, где до войны находились торговые ряды, разбомбленные в июне 1941 года. Новый рынок там же остался после войны.

Стр. 13. За рекой - неподалеку от нашего дома двугорбая - Шведская гора, насыпанная, как говорили старики, шапками плененных Карлом XII русским солдат.

На самом деле легенда гласит, что шведы похоронили своего генерала и землю на его могилу носили в своих шлемах.

За Шведской горой - Мышиные горы и Замковый лес. В нем Волковысский замок, в котором Ягайло принял в незапамятные времена княжескую корону.

Вокруг Шведской горы ещё 2 городища: Муравельник и Замчище. Замковый лес в другом месте. Своё название лес получил не от расположенного в нём замка, а от того, что лес принадлежал старостинскому двору (замку). В дворе (замке) проживал правитель города – староста или королевский наместник (державца). Ягайла же принимал послов в 1386 году, скорее всего, на Замчище или возле него.

Потом в таком же июньском кипенье цветов пришла кавалерия Багратиона, и в особнячке разместился штаб князя Багратиона. Теперь в нем военно-исторический музей... Интересно, что «при Польши» этот особняк называли «дом Наполеона». Имя французского императора кому-то грело

душу больше, чем имя российского полководца. Оно и понятно...

На самом деле этот особняк был построен в 1840-х годах. Что дом существовал в 1812 году написали не совсем грамотные историки. На самом деле штаб Багратиона располагался в костельной плебании, которая находилась недалеко от современного костёла святого Вацлава. Тому в подтверждение имеются несколько архивных документов. Имеются даже воспоминания пробоца костёла ксендза Криштофа Коженевского. Правда, тогда это был другой, деревянный костёл и носил название святого Николая. Коженевский был хорошим хозяином, незадолго до 1812 года построил новую плебанию. Кстати, после ухода русских войск в плебании разместилось командование французов, а 2 ноября 1812 года – штаб французских войск. Ксёндз Коженевский уточняет, почему именно в его доме русское командование устроило главную квартиру: «Бедные строения и жильё в городе Волковыске, и, наоборот, новые флигели в плебании, а также новый четвёртый дом плебании с красивыми комнатами и мебелью – всё это явилось поводом, что мой дом непрерывно облюбовывали под главную квартиру (имеется в виду русские и французские войска. – Н.Б.)».

Одной из главных причин избрания квартиры ксендза Коженевского под штаб послужило и само расположение дома. Плебания, больше похожая на помещичий дом, разместилась на окраине города в некотором отдалении от шума и грязи еврейских застроек, густо заселявших центр Волковыска того времени. О нахождении штаба Багратиона в плебании местного костёла имеется также ещё одно свидетельство волковысского земского исправника, которое он дал в гродненскому губернатору Михаилу Муравьёву: «Главнокомандующий нашей армией князь Багратион стоял в городе Волковыске в плебании римско-католического костёла».

Стр. 14. Немцы бомбили нефтебазу, вон она тут рядом – как стояла тогда, так и стоит, Нефтебаза, а на самом деле городской склад топлива (керосин и бензин), находился по Брестской улице, которая отходит от Замостянской. Сейчас там строительная фирма.

И Гродно, и Белосток, и Волковыск до самой Зельвы все у них считалось Южной Пруссией. По-немецки этот район оккупации назывался «Безирк Белосток», что значит «Район Белосток» и административно входил в Восточную Пруссию.

Стр. 15. Узнал, что дядя Федя родом из барановической деревни с замечательным названием - Добромысль. Был добрый человек из Сезуана, и был добрый человек из Добромысли...

Почти все семьи в Волковысском повете с фамилией Лоскот были православными и проживали в деревне Доброволя, что в Беловежской пуще. Сейчас это Свислочский район.

...подземные шахты, стоявших на боевом дежурстве ракет.

В Волковысском районе их не было.

...доктор Мазур состоял в нацистской партии и люто ненавидел поляков. Очень много людей с его помощью арестовало гестапо, а других он помог отправить в Германию на каторжные работы.

На самом деле отец Мазура был поляком, а мать немкой. К полякам и белорусам относился хорошо. В момент гибели ехал из Волковыска в деревню Свиначки (сейчас Звёздная) на помощь роженице.

Стр. 19 Прошли годы, и я узнал, что на Шведской горе стоял когда-то памятник, и он связан с именем Багратиона...

На Шведской горе ещё до 1915 года поставили скромный памятник с надписью «Товарищи – устюжцу». Барельефа воина на нём не было. Штаб и шесть рот 104-го Устюжского полка пробыли в Волковыске и его окрестностях с 1883 до 1887 года, т. е. около четырёх лет, после чего были переведены в Гродно. Фото с памятником появилось на открытке царских времён, а самого памятника не было уже при Польше.

А сам Волковыск оказался местом дислокации 2-й Западной русской армии, которой командовал генерал Петр Багратион.

Армия разместилась в Волковысском и других поветах Западной Беларуси. В Волковыске

разместился штаб армии.

Стр.24. даже особнячок на бывшей Панской улице, в...

До 1912 года она называлась Дворянской, переименована в Багратионовскую в честь 100-летия войны 1812 года. Панской её называли старожилы поляки.

Стр.24. Дом наш, выстроенный еще при Николае Первом,
Дом был выстроен при Николае Втором где-то между 1900 и 1910 годами.

Стр. 29. Много лет, спустя, занимаясь историей «Белостокского выступления», кровавым исходом наших войск из уготованного им под Волковыском котла, я узнал, что ушедший из Гродно штаб 3-й армии, занимал круговую оборону именно на Шведской горе, столь удобной для отражения атак.

Такого не было. Штаб 3-й армии в последних числах июня находился возле местечка Россь и оттуда через местечко Пески ушёл за реку Зельвянка. Другое дело, что на Замчище рядом со Шведской горой в первые дни войны стояла зенитная батарея, которую немецкие самолёты быстро уничтожили.

